

Алексей ГРИГОРЕНКО

ЗАПИСКИ СЕРОШТАНА, или АНАЛОГОВЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Роман-диалог

Памяти тех, кто ушел

Глава 19. КОБЕЛЯКСКИЕ НОВОСТИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН¹

Конечно, сбором материала о людях Системы отнюдь не исчерпывалась твоя жизнь, Сероштан. Будем считать это лирическим таким отступлением или конспектом так и не написанного тобой романа или исследования. Ну а что там происходило в мирных и сонных Кобеляках, они ведь никуда не девались из этого мира?

Во время каникул, да и после, конечно же, я возвращался в родные свои Кобеляки, хотя близких людей, кроме моих престарелых родителей-пенсионеров, там уже почти не осталось. Зойка жила в Западной Сибири, Серж лечил народ в Кременчуге, потом стал предпринимателем, открыл магазин иностранных часов для приобщающихся к международной культуре колхозников, собирался даже жениться на какой-то ушлой девчонке, и дело шло к свадьбе. Зойка написала в письме, что Серж с киевского кредита купил себе новый галстук для торжества, да совсем не простой — за тысячу долларов, но свадьбе так и не суждено было состояться: банк прогорел, часовой магазин подломили бандюганы с Хорольской, кредиторы выловили Сержа и увезли в Киев на «яме» сидеть, девчонка-невеста отправилась дальше искать себе богатого спонсора и покровителя, что стало с шейным платком за весомую тысячу долларов неизвестно. Те же знакомцы мои, с которыми мы занимались пластами, плитами, дисками, рекордами, плакатами разных групп, поношенными джинсами и такими же куртками, с кем целыми вечерами разговаривали о музыке и днями напролет крутили на «Вегах» и «Арктурах» запиленную корундовыми иглами аналоговую пластмассу, как-то скукожились, стали другими. Наверное, так и становятся люди взрослыми — музыка мало того что сама по себе измельчала и выродилась в тошнотворную сладость, коммерцию, но уже никого из прежних моих приятелей даже не интересовала.

Быстро чуваки образумились. Или это тебе только казалось, что быстро, — ты ведь не так часто приезжал в Кобеляки.

Так, например, местный наш бард и талантливый сочинитель песен Вадюра Мирошниченко, электрик на «Розочке», всю свою пластиночную коллекцию в коробке снес в подвал дома, в котором жил и живет до сих пор, туда же отправился и «Арктур», купленный в свое время по большому горьковскому благу в «Культтоварах» на Пушкинской:

— Мы живем в цифровую эпоху — все что угодно можно найти и послушать в сети, Сероштан! — так сказал мне Вадюра.

Другой вопрос: ищет ли что-то он в интернете, да и слушает ли? А ведь за каждый диск в 70-х годах мы отдавали весомые деньги — от 40 до 120 рублей...

¹ Главы 1-18 «Записок Сероштана» опубликованы в NN20-21 «Невского проспекта».

А как он набил тебе морду около танцплощадки только за то, что ты в срок не вернул ему после прослушивания Rare Earth — Ecology, 1970 года, все не мог оторваться от потрясающей сюиты I'm loosing you...

Пал жертвой своей оголтелой и безрассудной меломании. И вот теперь — сокровище стало хламом, снесено вместе с проигрывателем в подвал... Почему-то мне было больно слышать об этом. Так и модник по кличке Пит, остановился в Москве у меня на пару ночей на Трубной еще, увидев кассеты и диски, весьма удивился:

— Ты все еще занимаешься таким, Сероштан?..

Да, занимаюсь и вовсе не собираюсь завязывать с этим. Разве что только форматы вот, технологии поменялись: аналоговая аппаратура отжила свой век вместе с аналоговыми носителями — бобинами с пленкой, кассетами и пластинками, — все это заменили лазерные проигрыватели и компакт-диски. Ну что же, езжу на этом теперь. Музыка-то ведь осталась. В кладовке стоят у меня ящики с кассетами — выбрасывать жалко, столько ведь сил, времени, жизни ушло на все это, — выбросил разве что видеокассеты на свалку; правда, в кладовке и пластиночная коллекция — весь Alice Cooper, до 1987 года, все восстановил затем в цифре и с 1987 года беру уже Купера в CD-формате.

Ну а первой ласточкой стал в давнее время все тот же знаменитый Чилия из Кременчуга, который благословил нас возле пламенных комсомольцев 20-х годов, что около электростанции, где высится ныне построенный отцом Вовушаном собор, на занятия музыкой и пластинками, — он первый начал привозить из Харькова диски, и как только музыкой стало невыгодно заниматься, Чилия это дело оставил и перешел на другие источники, так сказать, нетрудовых доходов. Уже на самом излете советской поры Чилия опять меня выручил: к тому времени он стал работать бригадиром поездной бригады состава Кременчуг — Полтава — Москва, на котором некогда в давнее время приехал сюда я. Чилия весьма удивился, что я мыкаюсь здесь в совершенном безденежье.

— Сероштан, а на хрена ты учился?..

Шли с ним по Сретенке: на углу с Рождественским бульваром — знаменитая галантерея, возле памятника Наденьке Крупской. Чилия спросил — есть ли у меня там знакомые среди персонала? Конечно же, нет. Он не понял меня, усмехнулся. Зашли в не менее знаменитый «Охотник» на Сретенке, по пути к метро «Колхозная», ныне же окрещенной правильно в «Сухаревскую». Это был удивительный магазин — там свободно продавалось дикое мясо: оленина, медвежатина, кабанятина, лосятина, битая дикая птица, но не это Чилию интересовало:

— Смотри и запоминай, Сероштан, — сказал он около колбасного отдела, — схема такая: к каждому моему приезду подноси к штабному вагону 10 палок «майкопской» отсюда, я же тебе буду платить за 12...

«Охотника» этого давно уже нет...

Чилия приезжал в Москву 6-7 раз в месяц, и мало того, что я до отвала накормил сырокопченой «майкопской» маленьких сыновей и Агнешку с тех двух бесплатных батончиков, наелся от пуза и сам, но что-то существенное перепало мне и в деньгах. О музыке мы с ним больше не говорили. В новые времена Чилия оставил эти поездки с музыкой Украины в богатую, обильную дефицитом Москву, — представь себе, проводники с этого поезда даже зубную пасту возили в промышленный Кременчуг и потом разносили, как заправские коробейники, это добро по детским садам и яслям, — Чилия нашел еще более прибыльные занятия, правда, не знаю какие. Слышал, что где-то на Ленинской, ныне снова ставшей Соборной, которая упирается в Приднепровский парк, он открыл антикварный магазин, хотя, если разобраться, какой там антиквариат мог быть в Кременчуге, который во время войны практически был полностью разрушен немецким артиллерийским огнем с правого берега во время форсирования Днепра Красной армией в 1943-м году?

В 90-х годах Чилию взорвали в машине, все там же на Ленинской, машина сгорела дотла, и от Чилии остались одни головешки. Злые языки впоследствии утверждали, что погиб в машине вовсе даже не Чилия, а кто-то другой, сам же Чилия тайно бежал с Украины с накопленными богатствами, и вроде его кто-то где-то когда-то видел и узнал в лицо в Западной Европе. Подойти только вот побоялся.

Произошли существенные перемены и в наших тихих, забытых Богом Кобеляках. Слава Богу, в машинах никого не взрывали, — так, пощипали рэкетеры, бывшие колхозные хулиганы из-за реки, из «Красного свиновода», нашего сникерсового магната, недавнего парторга «Розочки» Ивана Залудяка, пара убийств по бытовухе, пьяная драка, смерть от дрянного американского спирта «Рояль» — несколько местных алкавотов просто не смогли справиться с заморским качеством и ценой, и все в таком духе, — как всегда в нашем колхозе. Пока я сражался не на жизнь, а на смерть в

далекой негостеприимной Москве, пока я учился, мыкался после института со своим никому не нужным «свободным» дипломом, пытался заработать на чем угодно, только бы остаться в живых, мои приятели — слесаря, электрики, фрезеровщики, дежурные наладчики швейных машин — все так же неспешно и правильно препроводили свои годы и дни в Кобеляках, созерцая после работы, как солнце садится в степях, как мирно и тихо несет свои снулые воды наша Ворскла напрямик в Днепр, — а что там, за Днепром, уже не знает никто. Брали прежде по паре бокалов пива под воблу, затем брали пиво в стеклянных бутылках, за которыми весьма рьяно охотились наши пенсионеры, поджидая поодаль, пока фабричный допьет жидкость и поставит пустую бутылку на парапет, затем пиво пили из невиданных жестяных банок — *«так як в Америке!»* — и это радовало и развлекало народ: жизнь налаживается, и позже — из полуторалитровых коричневых баклажек. Пиво перестало киснуть, портиться и выпадать белым осадком. Пиво можно было употреблять из вчера початой бутылки и через три, и через пять дней. В Киеве что-то гремело, решалось и провозглашалось, но здесь работяги только по пиву могли судить о прогрессе, демократии и свободе, которые обрела после Горбачева наша независимая родина. Только вот «Розочку» нашу начало потряхивать и лихорадить: когда Украина стала свободной и больше не надо было кормить голодную и нищую Россию, — почему-то, как это ни странно, лучше не стало, как то обещали неукротимые трибуны и правдорубы на Крещатике в Киеве, стало же — хуже. Директор Парнокопытенко с Залудяком, тогда еще вовсе не предпринимателем, начали разбираться, в чем же здесь дело, и быстро смекнули крестьянским умом: ватные штаны для военных разведчиков стали более не нужны, — разведчики остались разведывать свои тайны в ледяных просторах России, а здесь, в нашем благодатном южном климате, что с ватными штанами делать? Здесь порой всю зиму нет снега — и кто их будет носить?.. Разве что рыбаки, любители подледного лова? Да только и рыбы стало значительно меньше: химический завод в Черкассах, принадлежащий по слухам то ли дочери, то ли мужу дочери одного из двух первых украинских независимых президентов, по нескольку раз в год испускал в Днепр свои ядовитые отходы, вызывая массовую гибель всего живого, что было в воде. Интеграции и взаимодействия с «дорогими россиянами» тоже не получалось: там Ельцин заявил, что у России врагов больше нет и на военных заводах будут делать отныне скороварки, кастрюли и чемоданы — для российских туристов, которые вот-вот валом попрут посмотреть замки Луары, Ватикан и гонки «Формулы-1», обогатившись на ваучерных процентах Чубайса, — так что на ватные штаны, которые шили всю советскую эпоху на нашем филиале одеяльно-войлочной фабрики имени Розочки Люксембургочки, спросу больше не стало.

Тут Панас Миронович Парнокопытенко решил в свете новых веяний переименовать «Розочку» на что-то более демократичное и рапортовать о том в киевское министерство легкой промышленности. Без Сократа Ивановича Фрумкина это дело, конечно же, не могло обойтись.

И Фрумкин был, конечно же, против...

— Шо-шо?.. — Фрумкин хотел было обвинить Панаса Мироновича в антисоветской пропаганде и агитации и написать куда надо, но вспомнил, что советская власть приказала уже долго жить.

Парторг Иван Залудяк колебался и хранил гробовое молчание: коммунистическая ячейка на «Розочке» тоже уже не существовала, хотя самые верные члены запрещенной КПСС все еще хранили в тайниках партбилеты, но взносов, правда, Залудяку больше уже не платили.

— А так, — настаивал Парнокопытенко, — мы же уже на хозрасчете, со времен Горбачева, и потому сами должны штаны продавать.

— Ну а переименование фабрики нашей во что-то другое — разве откроет нам новые горизонты и рынки? — Сократ Иванович не отступал. Но никто не ведал еще о том, что они с Дорой Михайловной уже подали заявление на выезд в немецкое посольство в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 25.

— Думаю, да, — сказал Парнокопытенко, — клиент задумается: о! якась новая фабрика появилась на теренах свободы и демократии, — надо купить и попробовать!..

— Ну разве что так, — вяло согласился подпольный парторг Залудяк. Но и он уже внутренне, тайно простился с насиженным на «Розочке» местом, со своим уютным кабинетом освобожденного от физического труда сборщика взносов и штатного чтеца политической информации на собраниях трудового коллектива.

— Предлагаю, — понизил голос Парнокопытенко, — присвоить нашей фабрике имя... — все присутствующие замерли в страхе, — товарища Клары Цеткин! — директор сказал это так, как будто нырял в прорубь на Крещении в Ворскле, которую рубал топором во льду в виде большого креста отец Евгений Паламар со своими

причетниками накануне праздника Богоявления.

Фрумкин неистово замотал головой:

— Никада! Никада!..

— Та шо такое? — удивился Парнокопытенко. — Шо с вами ото, Сократ Иванович? Шо вы ото так против Клары Цеткин?.. Вона ж коммунистка!.. Вона нам праздник Восьмое марта для женщин придумала...

И тут наш Фрумкин ахнул, как будто козырным тузом припечатал:

— Клара у Карла украла кораллы!..

— Ну и шо? — озадачился Панас Миронович.

— Так у Карла Либкнехта!.. — сказал, как отрезал, Фрумкин.

Тем дело и завершилась. «Розочка» так и осталась с именем, данным ей при крещении революцией 1917 года, а вскоре Фрумкины уехали в Мюнхен, Залудяк стал бизнесменом на набережной, Парнокопытенко ушел на заслуженный отдых, успел, правда, своим трем великовозрастным замужним дочерям построить трехэтажные дачи из белого силикатного кирпича на заречных землях «Красного свиновода» на память вечную у потомков-наследников; рабочих и швей-мотористок уволило новое руководство в лице бывшего лаборанта-тихони Жоры Пасько, с которым я в детстве начинал коллекционировать монеты. Мою коллекцию, правда, украли, когда я был уже десятиклассником, залетные полузнакомые корефаны, которых моя мать перед тем накормила от пуза изумительными блинчиками со сладким творогом, коллекция Жоры, в отличие от моей, осталась в целости и сохранности, прирастая новыми и новыми поступлениями. Жора Пасько был смиренным коллегой моей матери в техбюро по ватным штанам, а ныне уже иначе как Георгием Борисовичем его не называли. Да нет, не уволил Жора даже людей — ведь при увольнении надо было платить выходное пособие, да и те, кто не хотел уходить, могли и в суд на бывшего лаборанта, а ныне директора, подать с требованием восстановить на прежней должности и с прежним окладом. Жора поступил очень просто: людям перестали платить зарплату. Совсем перестали. То есть люди работали, а денег за это не получали. Кто-то терпел месяц, кто-то три, а кто-то даже полгода:

— Уходите, — говорил Жора Пасько всем недовольным работягам и швеям, — я вас не держу, а денег — нет и не будет!

— Куда же мы пойдем? — изумлялись работники «Розочки».

— Куда хотите идите: вы же свободны. Займитесь бизнесом, продавайте ватные штаны, которые полгода назад вам выдали вместо зарплат, — богатейте, товарищи!.. Вы же хотели жить при капитализме — вот и живите! Бог в помощь!..

Когда исход с «Розочки» был завершен, Жора Пасько за пару сотен долларов приватизировал ее в собственность, разрезал станки и все причандалы на металлолом, который продал, вероятно, китайцам или туркам, не знаю, помещения фабрики переоборудовал под транзитные склады для различных грузов, которые 20-тонные фуры развозили по всей Украине из одесского черноморского порта, а Кобеляки как раз в самом центре Украины и пребывают во сне, на фабричной немаленькой территории устроил Жора стоянку-отстойник для тех же «Daf'ов» и «Man'ов», и отбыл в неизвестном направлении со своей семьей и нумизматической коллекцией.

Наверное, там, где Жора осел, жизнь получше чем в Кобеляках.

Ну и еще пару слов надо сказать и о заречном животноводческом совхозе «Красный свиновод», откуда к нам, в Кобеляки, на танцплощадку приезжали тамошние сельские парубки, с которыми мы каждый раз дрались за наших гарных неверных подруг. «Свиновода» тоже коснулась волна переименований, прокатившаяся по независимой Украине. И снова не обошлось без неутомимого почетного чекиста и друга всех пионеров когдатшного форпоста в бомбоубежище нашего дома товарища Фрумкина. Но на заседании правления совхоза он, сказать по правде, почти что молчал, хотя и здесь его убеждения, конечно же, подверглись искушениям нового времени.

Директор заречного животноводческого хозяйства предложил переименовать «Свиновода» из «красного» в «зеленого».

— Тю, — сказал Фрумкин, — а в чем ото дело, товарищ Баланопостит?

Тот объяснил:

— По последним постановлениям Рады у Києве и поручению президента страны товарища Кучмы мы боремся с черными следами проклятого коммунистического прошлого...

Надо отдать должное выдержке Сократа Ивановича — он мужественно промолчал на такое немыслимое кощунство. А что поделаешь, если дожил до такого? Скорей бы ото уже уехать из этого ада.

Директор Баланопостит же продолжил:

— В связи с этим мы больше не можем быть красными, станем же — зелеными...

— Товарищ Баланопостит, объясните окраску, — сказал Сократ Иванович.

— Во время гражданской войны в наших местах отважно сражались как с белыми, так и с красными отряды незаслуженно забытого героя Украины товарища Нестора Ивановича Махно. Думаю, шо он был, сам не сознавая того, предтечей освобождения и независимости нашей дорогой Родины от всех и всего, но наши деды и прадеды тада не доросли до такой идеологической зрелости. А вот мы с вами дожили, дорогие товарищи, до того вождельного часа, когда идеи товарища Нестора Махно победили и воплотились в нашу дальнейшую жизнь. Будем же отныне гордо и с достоинством носить новое имя нашего животноводческого хозяйства: «Зеленый свиновод»!

Хай будет так — соборно решило собрание за рекой.

Когда Сократ Иванович рассказал эту историю своей половине, Дора Михайловна только хмыкнула и сказала:

— Сока, оставь мертвым погребать своих мертвецов!

Дора Михайловна во все годы нашего детства-юности-молодости слыла трезвой и даже мудрой женщиной. Не зря 40 лет она была председателем женсовета на агитплощадке нашего большого двора в Кобеляках.

Вскоре Фрумкины на эмигрантском автобусе уехали в Мюнхен.

Агитплощадка без них заросла бурьянами, лавочки сгнили и развалились, металлические стенды согнули пьяные несознательные хулиганы, — так я, навещая иногда Кобеляки в 90-е годы, воочию созерцал разрушительное течение времени.

Глава 20. «ЧЕРЕЗ БЕЗБОЖИЕ – К КОММУНИЗМУ!»

Ждали ли мы перемен, как то провозглашал со сцены Виктор Цой? Ну, да, наверное, ждали. К осени 1982 года я чувствовал нечто странное в воздухе, и что-то неизъяснимое и несказанное тревожило душу, но все-таки это вовсе не было новым моим состоянием бесприютности и ненужности со «свободным» дипломом, реально наконец-то оказавшимся на чужих и равнодушных улицах столицы советской империи, — вовсе нет, хотя если бы это действительно было так, вероятно, легче было бы разобраться в себе и найти этому новому ощущению-чувству присущее место, — но что-то назревало извне, — и я даже нарек это вот состояние ранней осени 1982 года «концом прекрасной эпохи» — где-то я вычитал или просто краем уха услышал этот термин, и он вполне совпал с этими смутными токами, которые зрели во мне. Хотя что я подразумевал под минувшей «прекрасной эпохой», наверное, не совсем все же понятно: поздняя брежневщина оставляла весьма скудный взор для радостей, праздников, празднеств, — искушения и внутренние тяготы от присмотра «валько в», который я вполне явственно ощущал за собой, — что там было такого прекрасного? Хотя, как сказать: с 1977 по лето 1982 у меня над головой была крыша нашей общаги на Добролюбова, 9/11, а прежде — дворничья квартирка на Тверском, 25, и по меньшей мере я не беспокоился, где и как жить. Лекционная сетка, чередование сессий некоей обязательной к исполнению событийной решеткой придавало моему текучему бытию осмысленный жизненный ритм, хотя институт уже к 3-му курсу дал мне все, в чем я нуждался интеллектуально и творчески. Так по крайней мере казалось тогда. И когда 10 ноября 1982-го года умер Брежнев я почти даже не удивился: я же все это предсказал и предчувствовал, просто не знал, в какой форме это все воплотится.

Ну и когда тело Брежнева окурил кадильными дымком прямо на Красной площади под вездесущими объективами кино-, фото- и телекамер первоиерарх нашей церкви патриарх Пимен Извеков, а затем, при опускании в могильную яму под заветной кремлевской стеной, у одного из крепких ребят специального назначения, удостоенных такой невиданной чести, веревка, трос, цепи пролетариата или лента — было все же не рассмотреть в сером окне телевизора что — выскользнула из рук, и гроб с телом генсека со стуком на весь мир упал одним краем на дно — конец прекрасной эпохи материализовался таким вот гулким аккордом. Все остальное — краткую андроповщину и проверки народа на дневных киносеансах — *почему, сука, не на работе?* — черненковшину с лихорадочным переименованием весей и городов в память о преждевременно почивших товарищах из Политбюро, горбачевщину с вырубкой виноградников и талонами на продукты, мыло и водку уже можно было даже не считать за что-то весомое и значительное — просто продолжалась агония государства, «удерживающим» которое, как ни странно, можно было бы посчитать самого «Лёню», над которым столько потешались в бесчисленных анекдотах и байках.

Ну а тогда ахнул народ: так что получается — «Лёня» был верующим, что над ним Пимен молился? Ведь верили все в тот замечательный лозунг 30-х годов, придуманный Минеем Израилевичем Губельманом, скрывшимся под благозвучным псевдонимом Емельяна Ярославского — «Через безбожие — к коммунизму!» Мало того, что «Лёня» в обещанном еще «Никитой» 1980-м году не объявил коммунизма, а по-шулерски за-

менил его каким-то недоделанным «развитым социализмом» и чуть ли не отменил 5-й пункт в паспортах и начал для отвода глаз поворот рек с севера в Узбекистан, объявив исконную Россию неким маловразумительным Нечерноземем, так его еще и патриарх Пимен окурив опиумом на глазах у всего прогрессивного человечества... А ведь «Никита» в 1980-м году, вместо Олимпиады, обещал показать по телевизору последнего попа... И тут коммунистические вожди, получается, обманули доверчивую общественность, которой ныне осталось разве что советский пломбир за 20 копеек вспоминать и облизываться на былые деньки брежневского «застоя» и всеобщего счастья...

Думаю, что такие мудрые и предусмотрительные люди, как Сократ Иванович Фрумкин, благополучно переживший в активистах 1937-й год и даже исхитрившийся при тогдашнем вопиющем беззаконии с расстрелами старых большевиков получить заветный значок «Почетного чекиста УССР», уже тогда смекнули, что дело пахнет здесь отнюдь не софринским ладаном, а вообще керосином, и никакого коммунизма не будет, сколь ни заклинали в мантрах наши генсеки неподатливую и жестокую в своей объективности реальность. И потому 11 ноября, сразу после похорон дорогого Леонида Ильича под стеной, Дора Михайловна добыла из глубины антресолей большой фанерный чемодан, с которым Сократ Иванович на всякий пожарный еще собирался в ГУЛАГ, если в Кобелякском райотделе НКВД решат окончательно нарушить социалистическую законность и перегнуть палку, но от того Господь Фрумкиных тогда уберег, и сказала:

— Сока, с этим и так здесь жить мы не будем. Шо там делает отот Пимен?..

Но для того, чтобы набить барахлом памятный чемодан до самого верха, все-таки потребовалось еще 10 лет неустанной борьбы за ленинские идеалы, объединение Германии, а также решение немецкого бундестага о восполнении убыли известного населения в известные годы в известных пределах.

Да, мы чаили перемен или, скажем так, протрезвления от утара. Но те, кто пришел к власти после балабола-перестройщика с клеймом каторжника на председательском лбу, имели совсем другие планы. Видимость свободы и видимость демократии потребовалась этим ребятам только для того, чтобы под фоновый шум о каких-то невразумительных реформах растащить по темным крысиным углам жирные куски государственной собственности и обесценить сбережения граждан — так мои родители потеряли практически все, накопленное с невеликих зарплат на «Розочке», и перед смертью на восьми сберегательных книжках сохранилось денег в украинских независимых «купонах» — на полтора стакана жареных семечек...

Но я все-таки не о том, — не о том, — хотя даже думать больно об этом, — и вовсе не родительских денег мне жаль, но скорбь моя об их несчастном поколении, которому довелось хлебнуть такую меру лиха, что никому из нас такого было бы вовсе не вынести: коллективизация и голодомор — в детстве, Отечественная война и все, что с ней связано — в юности, а ведь Украина была три года под немцами, разрушительные и кровавые битвы, как памятное в наших краях форсирование Днепра Красной армией что в эту сторону, что через два года в ту, голод и разруха в молодости, изнурительная работа за сущие копейки на протяжении всей жизни на флагманах социалистической индустрии под присмотром бдительных пионеров, пенсионеров и почетных чекистов вроде Сократа Ивановича Фрумкина, наконец-то заслуженный отдых, пришедшийся на годы губительных реформ и распада Союза свободных республик с последующим сбором пустых пивных бутылок на улицах и, несмотря ни на что, несокрушимая вера в то, что на черный день у них все же что-то накоплено — и вот что в итоге: полтора стакана семечек, — даже не два... Что я мог сказать умирающему от рака отцу тогда, в 1996-м году?... Я ведь присылал деньги им, отрывая от своих пятерых малышей на Грачевке, но наша мать, вместо того чтобы на кобелякском базаре купить кусок мяса и курицу по примеру своей приятельницы по дворовому женсовету Доры Михайловны, несла деньги в Сберкасса, чтобы сохранить их опять-таки — для нас с братом или для внуков...

Мы ждали перемен, — конечно же, ждали, — но время тратило нас, тратило на пустяки и бесплодные новые ожидания наши дни, истончало тела, иссыхали в наших душах благие помыслы и надежды, и сил, кажется, не оставалось уже ни на что. С телевизионных экранов и радиоприемников звучали новые и новые заклинания все тех же перекрасившихся коммунистов, зачастую «под мухой» и «под балдой», нечаянно и внезапно для себя обогатившихся в несколько дней и снова поучающих несчастный народ, как надо жить и к чему надо стремиться...

Перемены пришли в нашу реальную жизнь: громогласную начальницу ДЭЗа Аллу Александровну по достижении известного возраста отправили на заслуженный отдых, и она устроилась киоскером в газетный киоск на станции метро ВДНХ.

Мой однокурсник, поэт Сережа Васильев, в Волгограде тем временем в стремлении

выжить в новой реальности занимался разными литературными халтурами. Одним из таких коммерческих предприятий было составление им «Детской библии» небольшого и, как оказалось, крайне удобного формата, — Сережу, как издателя тамошнего детского журнала «Простокваша», наняли написать соответствующий текст ушлые волгоградские коммерсанты, Сережа порученное дело исполнил, получил какие-то невеликие деньги за это, но с реализацией тиража в Волгограде у дельцов получилась некая заковыка. А тут в Волгоград приехали по церковным книжным делам мы с одним моим балбесистым однокашником по Литинституту, которого все, кому был он известен, называли не иначе как Хитрым дураком. Он по старой памяти нанял меня грузчиком-экспедитором за кусок хлеба, стакан пива и три рубля суточных, чему я, потерявший к тому все свои хлипкие заработки, был только рад. Остановились мы у Сережи в микрорайоне «Семь ветров», он показал нам эту «Детскую библию», и Хитрый дурак во исполнение начала своего прозвища выкупил за недорого весь тираж у тамошних бизнесменов, и мы на двух фурах перевезли «Детскую библию» из Волгограда в Москву. Однокашник же мой на этом деле обогатился невероятно, разменяв и продав этот тираж, но ни Сереже Васильеву, ни тем более мне от сказочной прибыли ничего не досталось, хотя нам обоим обещались золотые горы, райские кущи и молочные реки. Хотя справедливости ради надо сказать, что с полученными деньгами обращалась уже вторая часть его прозвища, и в результате все пущено было, конечно, на ветер. Гонорар Сереже заплатили еще волгоградцы, а мне — за наводку, погрузку, сопровождение и разгрузку на складе Афонского подворья в Москве скарденный Хитрый дурак выделил пару пачек «Детской библии». Другому нашему однокашнику, поэту Славе Артемову, привлеченному помощником к этой громадной и муторной разгрузке двух фур из Волгограда, Хитрый дурак со скрипом заплатил комплектом «Добротолубия» за целый день изнурительного таскания туда-сюда книжных пачек. Еще и пожаловался, как много Артемов с него запросил. «Детскую библию» я и реализовал через своего ангела-хранителя Аллу Александровну, смиренную пенсией и заключенную до срока вместо тюрьмы, которой она так страшилась, в тесный газетный киоск на ВДНХ.

Аллу заменил на посту вроде бы тихий таджик Сирожиддин, приехавший в Москву из Душанбе учиться в аспирантуре чему-то забытому за ненадобностью и попавший жить и работать на грачевских списанных площадях, о которых, кажется, шла молва по всей подпольной Москве. Я был свидетелем, как Сирожиддин рыдал от того, что его из дворников не назначили главным инженером нашего ДЭЗа, когда мой приятель из Омска Гриша заработал свой первый миллион долларов и освободил это доходное место.

В чем заключался ДЭЗовский бизнес тех лет: работники коммунального хозяйства по служебной обязанности прекрасно были осведомлены о всех нежилых помещениях подведомственного района. При Брежневе и Андропове информация такого рода продавалась за взятки и некоторые услуги художникам и скульпторам, которые с готовыми реальными адресами на руках приходили в свои творческие союзы и те уже ходатайствовали перед районным ПЖРО о предоставлении найденных помещений под мастерские с последующей приватизацией в собственность. Конечно, успеху предприятия и необходимому документальному оформлению споспешествовали такие люди, как Гриша и Алла Александровна. Кроме того, Гриша имел в своем распоряжении ДЭЗовских маляров и слесарей и использовал их в частных ремонтах «мимо кассы» в карман. Вполне допускаю, что по старой памяти наши быстро перестроившиеся начальники сдавали помещения и под подпольные публичные дома. Ну а как же иначе было им поступать, если школьники тех времен поголовно писали в сочинениях на тему о будущей профессии, что мечтают стать исключительно проститутками? Да и еще в таком месте, как Грачевка, с ее метафизической памятью лихих деньков вплоть до начала 30-х годов. Кроме того, старый грачевский люд в новых временах активно помирал, и снова-таки освобождались выморочные квартиры, которые из-за присущей им ветхости выводились из жилищного фонда и таким образом пополняли оборотный фонд свободных и лакомых для художников и скульпторов площадей. В 90-е годы, прошедшие под заветным лозунгом «Обогащайтесь, и вам за это ничего не будет!», ситуация с продажей адресов только усугубилась, и до небес выросла и плата людям, имевшим касательство к этим делам. Но на трущобной Грачевке ютилась, разумеется, московская голозада шваль — конченые алкоголики, потомки проституток 20-х годов, сгнивших от сифилиса еще при ленинском «нэпе», понаехавшие «горьковские» татары, студенты-казахи и литераторствующие люмпены, подобные братьям Шикиным и нам с Олегом Давыдовым.

Другая картина наблюдалась в благополучном и козырном Краснопресненском районе, где жил интеллигентный и артистический люд, — так только с одного дома артистов Большого театра, о котором я уже поминал в связи с храмом Воскресения словущего на Успенском вражке и где жил сталинский соловей Иван Козловский,

техник-смотритель по имени Стасик, прибывший завоевывать Москву из какой-то затрапезной уральской Губахи в начале 1970-х годов, к годам перемен, которых настойчиво требовал ленинградский истопник Цой, тоже стал миллионером, подобно нашему Грише, — на так называемых вымороченных квартирах великих артистов, администраторов и руководителей Большого театра. У многих знаменитых жильцов того дома не было детей по разным причинам, а те, кто имел кровное право унаследовать барахло, жили далеко, и родственные связи были, как правило, очень ослаблены — да и как состязаться было со славным богатеньким дядюшкой Ваней, который пил вино на приемах в Кремле с самим Иосифом Сталиным и пел вождю нескончаемые «многая лета», — о чем ему было в письмах писать из Уржума? Об урожае свеклы? О засолке огурцов и капусты? Часто простецы из провинции не успевали даже за положенные полгода провести о том, что богатый дядюшка отошел в мир иной, а такую квартиру по закону следовало через полгода уже освобождать от имущества, оставляя одни голые стены для будущих счастливых жильцов заветных сталинских метров на Брюсовом. Да и при наличии претендентов на наследство Стасик все равно первым прибывал в квартиру артиста, где произошел печальный уход в мир иной, и опечатывал ее от незваных и званых гостей. Пока скорбные родственники на перекладных прибывали из глубины сибирских руд, Стасик, имея запасные ключи, полоску белой бумаги и ДЭЗовскую печать, мог сколько угодно приходить в квартиру и забирать оттуда все самое ценное, опечатывая снова и снова за собой двери. Но это, так сказать, в исключительных случаях. А обычно все найтвое сталинскими любимицами и любимцами и ушлыми бериевскими администраторами полностью доставалось технику Стасику: антикварная мебель, коллекции картин, напольные вазы династии Цин, старинные иконы в золотых и серебряных ризах, всякие приятные мелочи вроде серебряных парадных столовых наборов весом чуть ли не в пуд, ни разу так и не использованных по назначению, настольные кованные из листового серебра чернильные приборы без единой засохшей капли ореховых чернил, серебряные же самовары, золотые папиросницы и портсигары с монограммами великих князей, груды сверкающей бриллиантами бижутерии, подаренной актрисам еще царскими генералами-поклонниками, коллекции античных монет и просто кожаные мешочки с николаевскими червонцами, сбереженными на случай голода и непредвиденных политических обстоятельств, и все в таком духе...

Тут долго можно перечислять. Но стоит ли?..

А малоинтересные мелочи вроде дореволюционных пасхальных и рождественских открыток и фотографий актеров с автографами на память таких почивших звезд немого кинематографа вроде Веры Холодной и Марии Дюсиметьер, просто либо отдавались на поживу дворникам из Мордовии, либо просто выносились на свалку, как хлам. Неподалеку от Московской консерватории, в Среднем Кисловском переулке, Стасик оборудовал склад для мебели и прочего антиквариата, отдельные предметы которой помнили еще нашествие «двенадцати языков» в 1812 году, а когда советская власть пала от собственной несуразности и идеологической тяжести, Стасик там же, на своем бывшем участке, в полуподвале открыл антикварный магазин, существующий и по сию пору.

Когда мои покровительница Алла и приятель Гриша убыли в свободное плавание по благодатным и ласковым волнам первичного накопления капитала, уступив место таджику-ученому, прежде приветливый и мягкий восточный человек из аула под Душанбе Сиротинушка-жиддин отчего-то решил меня уничтожить — оказалось, что-то во мне его давно раздражало. Алла часто пугала меня увольнением, когда бывала не в духе, но дальше ора на всю Грачевку о том, какой я негодяй, дело не шло, здесь же без всякого шума и крика Сирожиддин перестал платить мне зарплату, хотя я исправно нес свою вахту в котельной на Малой Колхозной площади, вскоре переименованной обратно в Малую Сухаревскую. Я терпел пару месяцев, работая без зарплаты, разговаривал с ним несколько раз по-простому, но он мало того что потребовал называть его на «вы» и по невыразимому отчеству Дилмуродович, так еще чуть не заходить к нему в кабинет с земным поклоном.

На прямой вопрос о том, почему мне не выдается зарплата, Сиротинушка отвечал классически:

— Ты плохо работаешь, Сероштан!..

— Слушай, Жидин Уродович, — сказал ему я при очередной нашей встрече, — может, мне еще обрезание сделать ради своей кровной зарплаты?..

Ну и, разумеется, перестал выходить на дежурство в свою газовую котельную, оставив трудовую книжку навсегда в Дзержинском ПЖРО.

Котельная не взорвалась? Жильцы не замерзли?..

Вскоре меня вызвали в суд: новоиспеченный начальник Жиддин-сиротинушка по-

дал иск о выселении нас с Агнешкой и всеми детьми со служебной квартиры на Трубной, 21. В те времена для того, чтобы жилище перевести из служебного в приватное, в ДЭЗе надобно было проработать не менее 10 лет, я же проработал только 8...

Быстро же прошли твои подпольные годы, — ты даже и не заметил...

Но справедливый постсоветский суд ходатайство таджикского аспиранта-начальника отклонил: Агнешка носила новым нежданчиком-бременем уже пятого нашего ребенка, четверо же малышей уже сидели по лавкам нашего затрапезного дома, который разменял уже вторую сотню неустанных трудовых лет на Грачевке и в котором как по документам, так и в наличии не было никаких особых удобств, кроме холодной воды, — если не считать моих подпольных ванной и газовой колонки, — и пригоден он был только разве на слом. Сирожиддину оставалось только поклацать по-волчьи зубами и отступить.

Ветхость дома защитила тебя. Ну и Агнешка природным женским манером...

Через пару лет нас отселили коммерсанты из «Инженера», о чем уже я рассказывал, Сирожиддин же, даром что мусульманин, время спустя весьма обогатился на экспорте в Россию из США спирта «Рояль» в бочках, догоняя по деньгам своего предшественника — русака Гришу...

Ну а что оккупантов Таджикистана жалеть? — пусть травятся этим пойлом голымым, а недоучившемуся Сирожиддину Дилмуродовичу все трудовая копеечка... Правильно Вишневым говорил: будешь дворником — так и философия у тебя будет дворницкая... Как в воду глядел. Сиротинушка так и предал аспирантуру свою: стал тем, кем стал, но отнюдь не душанбинским профессором...

Ни о нем, ни о Грише с их миллионами, ни об Алле Александровне с газетным киоском я больше ничего не слышал.

Так закончились мои труды на Грачевке в сплоченном коллективе операторов газовых котельных, дворников, плотников, кровельщиков и слесарей, а также разноликих моих собутыльников — начиная от спившегося бывшего офицера госбезопасности Валеры Босенко и заканчивая всеми художниками и скульпторами, писателями и иконописцами, обитавшими и работавшими там в те времена, — поминаю их всех добрым словом, товарищей моих тесных дней и многоразличных забот...

Удивительная и любимая мной Марина Цветаева написала мемуар «Музей Александра III» — о том, как ее отец многими трудами, тщанием и воодушевлением возводил на Волхонке замечательное сооружение Музея изящных искусств, ныне носящее имя Пушкинского, но после того, как история Российской империи завершилась крахом и невиданным кровопусканием, импортированные в опломбированном вагоне со швейцарской каторги и неволи к неожиданной власти товарищи уже не парились с возведением для своих музеев революции, Ленина и чего там еще зданий и ответственных хранилищ артефактов нового славного времени вроде окровавленных знамен, браунинга Фанни Каплан, телеграмм великого Ленина о поголовном истреблении казаков и всем таком прочем, а просто опустевшие по известным причинам дворцы и усадьбы декретами передавались в ведомство Луначарского, и там уже отставные герои гражданской войны и комиссары в пыльных шлемах лепили образ нового века по своему усмотрению и лекалу. Одним из таких заведений стал Музей религии и атеизма в Москве, на Большой Коммунистической улице, куда я попал в сторожа в конце 1980-х годов благодаря музыканту и композитору Юре Калинину, который, как и Аркаша Суслов, Олег Давыдов и Володя Шикин, презрел научную карьеру химика-дегазатора и после окончания института пошел работать дворником в Краснопресненское ПЖРО и сочинять свою музыку — вместе с Аркашей, тихим алкоголиком Женечкой, моим свояком, и будущим миллионером техником-смотрителем Стасиком, прибывшим из Губахи. Юра не то что накликал для заработка этот музей, но так уж совпало, что его добрый знакомец Виктор Бурдюк, тоже один из подпольных людей, но мне малоизвестный своим прошлым до этих событий, собирал сторожевую бригаду для этого странного места. Юра предложил мне эту работу, я, само собой, согласился, оставалось только согласовать между собой и скорректировать мои разноплановые дежурства на Таганке и на Малой Колхозной. Мы с Агнешкой в ту пору, можно сказать, потихоньку воцерковлялись — из нашего социального состояния, из духовного и политического подполья путь в Москве лежал исключительно в церковную ограду, — по крайней мере, так нам казалось, ну и дух новообращенного христианина и призывающая благодать отчетливо и остро ощущались и осмысливались, — и вовсе ведь не в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси, пришедшегося на 1988 год, — все совпадало дотошно и верно: наша молодость, наше социальное и психологическое неопасение — ну а чего нам было бояться или кого страшиться, если мы вольно избрали такой образ жизни,

устранившись от понятных социальных и профессиональных карьер, от жизненных, брачных и личностных лифтов, извлекающих частного человека из грязи, с низа, из ничтожества в некие сферы значимости, влияния, какой-то известности и востребованности для разных задач. Тут совпадало и мое врожденное неприятие духа соревнования — мне всегда легче было уступить, подвинуться, отойти в сторону и не участвовать, чем рвать жилы и лезть к поставленной цели по чужим головам. Может быть, именно этим и обусловлено мое сравнительно легкое принятие подпольного и маргинального существования и — шире — мои литературные занятия и иллюзии с текстами, которые я по преимуществу больше читал и все меньше и меньше писал сам. Все это в целом предполагало одиночество, но вовсе не тишину, к сожалению. Сторожевые работы в тогдашней социалистической Москве вполне подходили под мое умонастроение и мой образ жизни. Конечно, прежде напрягла сама эта идея — после храма Воскресения словущего на Неждановой идти охранять Музей религии и атеизма, но тут следовало все-таки сделать упор на первое значение — все же «религии», а «атеизм» можно было даже не охранять, потому что как охранять пустоту?

Ну и потом там ведь ждало тебя немало интересных открытий.

Начиная с этого замечательного лозунга «Через безбожие — к коммунизму!» — где бы я еще такое увидел? — и заканчивая значительной музейной библиотекой, не только наполненной словесными извержениями записных лекторов общества «Знание», бывших священников Дулумана, Осипова и других перевертышей 50-х годов, но и конфискованными невесть когда и откуда святоотеческими трудами, изданными до революции... Да, было чем мне заняться в Музее религии и атеизма, и за что я особенно благодарю Бога и благой Его обо мне промысел, ибо не только неограниченным чаепитием в кабинетах сотрудников-атеистов позаймствованным из их тумбочек чаем и растворимым кофе я там пробавлялся, не только звонками со служебных телефонов в Кобеляки, в Ноябрьск или в Тикси Зойке Скаженник, Шоне и Вадюре Мирошниченко и болтовней о том текущем, о чем ныне нет памяти, но чтением каппадокийских отцов из библиотечного собрания и прежде всего — преподобного Исаака Сирина, повергшего меня с моей интеллектуальной гордыней долу и в прах. Навыкший уже к разному чтению со времен еще Кобеляков, а тем более в стенах Тверского, 25 и в самиздатовских копиях у Аркаши и других героев подпольной Москвы, читавший фрагментами Платона, Аристотеля, Ницше и Шопенгауэра, не говоря уж о Ясперсе, Шпенглере, Хайдеггере и прочих философах, я был просто потрясен неведомыми глубинами мысли и несказанным знанием природы человеческой души, которые были присущи духовидцу-монаху из Нитрийской пустыни 7-го века...

Интересно мне, Сероштан, как ты применял в своей жизни положения Хайдеггера, допустим, или Ясперса?

Да никак. А как я применял свои познания по обязательной политэкономии, диамату или, прости Господи, научному коммунизму? Они присутствовали в обязательной программе высшей школы тех лет, мы читали эти невразумительные талмуды, пытались логически в чем-то таком разобраться, сдавали экзамены и зачеты, даже, помнится, «шпоры» писали, чтобы не перепутать какие-то термины Маркса. Это — образование в полной картине, и совершенно неважно, как все это пригодится потом, после школы, — просто надобно все это было читать и изучать, — и Хайдеггера с Ясперсом тоже. Тут вступала в игру некая метафизическая закономерность, в этой вот системе, которую можно сколько угодно критиковать за диамат и прочие идеологические прелести, — но в целом это подобно конструкции автомобиля: водителю ведь ничего больше не нужно, кроме руля и колес, ну, еще, может быть, музыки Laurie Anderson из колонок в салоне, а ведь нутро и сущность автомобиля состоит из тысяч деталей и сотен узлов, о которых пользователь и любитель быстрой езды и замечательной музыки даже не подозревает, — но без них автомобиль не сдвинется с места, более того — его просто не будет. Так и интеллектуальные и мировоззренческие составляющие высшего, в нашем случае, гуманитарного образования немислимы без этой жесткой системы, без этого каркаса, без скелета, где соответствующей косточкой в соответствующем месте сохраняется и диамат, и Ясперс с Хайдеггером, и отцы-каппадокийцы с Платином и Ямвлихом, и даже несравненная психоделическая Laurie Anderson с альбомом Strange Angel 1989 года — все это суть человека, его интеллектуальный и жизненный потенциал, — и без этого человека тоже не будет, — останется один только рот для поглощения пищи, детородные органы для размножения неизвестно зачем и афедрон.

Так что не задавай дурацких вопросов о Ясперсе и Хайдеггере.

Я бросился читать и впитывать это все. Сперва переписывал в большую общую тетрадь, украденную из Внештранса еще в студенческую бытность свою, когда с Сережей Васильевым и Володей Малягиным вместе с Геной Ситенко мы сторожили пару лет лакомый внешнеторговый кусок на Гоголевском бульваре. Затем я дорос

до того, чтобы на время позаимствовать пару книг из атеистической библиотеки — это были «Отечник» святителя Игнатия Брянчанинова, составленный из речений древних отцов, и «Лествица» игумена Синайской горы Иоанна, который, как и Исаак Сирин, жил в Византии в 7-м веке — эти книги я принес своим приятелям-переплетчикам на Грачевку, они их аккуратно разъяли на блоки, затем на страницы, которые отдали на ксерокопирование какому-то Володе, секретному работнику одной из мелких контор на Малом Сухаревском переулке в соседнем подъезде с нашей недолгой с Агнешкой 10-комнатной квартиры, населенной призраками. Он все сделал в лучшем виде, на прекрасной финской бумаге, качество печати было несравнимо с ксерокопиями карамзинской «Истории» Аркаши и Женечки, за что первый сел в тюрьму, а второй отделался условным сроком. Тираж я заказал количеством десятка два экземпляров, потом еще пришлось допечатывать пару раз — так много оказалось желающих приобрести эти редкие и важные для православных людей книги. Ксерокопированные листы мои старики-переплетчики, один еврей, другой природный русак, недолюбливавшие друг друга, но проработавшие бок о бок всю свою жизнь, разбирали, сшивали в брошюрные блоки и переплетали, не отказывая мне и себе в роскошном золотом тиснении наименований. Через много лет в служебном кабинете белгородского митрополита Иоанна Попова я увидел на книжной полке «мою» «Лествицу» — тоже ведь какой-то мелкий итог. Книги я, естественно, преимущественно продавал, и спрос весьма превышал предложение. Позаимствованные «родные» издания я, конечно, вернул в музей, и сотрудники-атеисты ничего не заметили. А через год-полтора совсем рядом со мной произошло совершенно невероятное по совпадению событие с нашим сторожевым бригадиром Виктором Бурдюком.

Мои отношения с ним — по моей, конечно, вине — складывались не лучшим образом: я пару раз оставлял свой пост, запирали Музей и отправлялся то бродить по таганским переулкам и улочкам, то шел в кинотеатр «Иллюзион» на Котельнической набережной, то выпивать к другим товарищам-сторожам на соседние посты в многочисленных конторах, а тем временем приходила либо проверка, либо срочная почта из ленинградского побратима-музея, располагавшегося в тамошнем Казанском соборе, — а на посту никого. Вызывали среди ночи Бурдюка, — тут к шапочному разбору с криками и воплями атеистов о беспорядке являлся я под хмельком или под впечатлением от немого и великого «Метрополиса» Фрица Ланга 1927-го года, — Виктор клял меня последними словами, грозился выгнать взащей, а потом в такую вот ночь до утра каждые 10 минут звонил по телефону, проверяя на месте ли я, и клал трубку, не произнося ни слова. Каково же было мое изумление, когда нашего бригадира арестовал КГБ, вменив ему то, чем втихаря занимался я сам. Только масштабы у Виктора были несравнимы с моими.

Вот тут попало мне на глаза интервью Бурдюка, данное им несколько лет назад сайту Православие.ру по поводу сорока дней со времени кончины архиепископа Костромского Алексия Фролова, с которым он был с юности дружен. Корреспондентка мягко называет то, что делал Бурдюк, «издательством», хотя никаким издательством это предприятие отнюдь не было, разумеется. Но здесь я уже процитирую слова Виктора:

« — Расскажите, что у вас было за издательство и что вы издавали?

— Много лет я был очень близок с отцом Дмитрием Дудко. По его благословению и было сделано подпольное православное издательство. В первую очередь мы издавали Новый Завет и молитвословы достаточно большими тиражами. Также издавали Святых отцов: «Лествицу», «Невидимую брань», Исаака Сирина, Тихона Задонского, краткие жития святых, Оптиных старцев, Сергея Нилуса. Первыми в России напечатали книги Ивана Ильина, книгу Кобылина «Анатомия измены», «Письма Царской семьи из заточения». Только по приговору у нас насчитывалось 90 тысяч экземпляров. Поэтому мне никогда не приходило в голову сказать, что я сидел ни за что... По милости Божьей мы сидели за дело.»

Конечно, в какое сравнение могли идти мои 100-200 «Лествиц» и «Отечников» с 90-тысячами экземпляров Виктора Бурдюка? Хотя, если говорить начистоту, количество это занижено, но Бурдюк отнюдь не лукавит: эта цифра фигурировала в приговоре, о чем он и рассказывает корреспондентке без обиняков. На самом деле тиражи этой «типографской компании», как мы называли позже в нашем кругу Бурдюка и его подельников, из которых мне известен Николай Блохин, ныне писатель и священник на Дальнем востоке, окормляющий тюремные зоны, и тоже отсидевший несколько лет, как и Бурдюк. С Блохиным, нанятым грузчиком все тем же Хитрым дураком, мы однажды грузили кучу металлических кроватей из какого-то подмосковного пионерлагеря, предназначавшиеся к отправке все в тот же Волгоград, куда переезжал один скандальный околосерповский «духовный педагог» Анатолий Гармаев со

своими адептами, — их принял под свой омофор по каким-то причинам митрополит Волгоградский Герман. Пока мы грузили два грузовика вперемежку кроватями для гармаевцев и книгами для волгоградского Свято-Духова монастыря, Коля Блохин немного мне рассказал об их «типографской компании». Но кое-что еще с поры Музея религии и атеизма я знал и сам.

Как я уже говорил, в Московской патриархии существовал издательский отдел, который с начала 70-х годов возглавлял архиепископ Волоколамский Питирим Нечаев. Понятное дело, что существовал он, можно сказать, вполне номинально, для отвода глаз от реальных церковных проблем и для демонстрации кому и где нужно — на экуменистических сборищах по всему миру, например, — иллюзорных «свобод» РПЦ при развитом социализме. При громадном количестве штатных и внештатных сотрудников там микроскопическим тиражом без указания числа экземпляров издавался черненький молитвослов, ежемесячный хлипкий «Журнал Московской патриархии», заполненный реляциями о борьбе РПЦ за мир во всем мире, церковный календарь для священников и неплохой сборник «Богословские труды». Последний выходил, кажется, один раз в год. Само собой разумеется, что из всего исчисленного до обычного человека ничего ровным счетом не доходило, — но в этом и заключалась задача, поставленная священноначалию Советом по религиозным делам: крохотками печатать дозволено, но вовсе не дозволено распространять. Жизненным подвигом Питирима стало издание «зеленой» Библии, но и ее купить было совершенно невозможно даже за сотню рублей, за которые из-под прилавка благоволившая ко мне свечница в питиримовском храме на Неждановой мне ее втихаря продала. А так обычной картиной было, как величественный архиепископ приводит в храм очередную экуменистическую делегацию из-за «бугра», поводит властной десницей по храмовому пространству, в глубине которого благолепно сияет образ Богородицы «Взыскание погибших» в кованой серебряной позлащенной ризе, увешанный бриллиантовыми подвесками и разными золотыми подношениями от благодарных царственных старух из Большого театра, а тут на свечном прилавке на самом виду и красуется «зеленая» Библия, и говорит:

— Кто сказал о преследованиях религии в СССР? Вот смотрите: любой прихожанин или даже посторонний, зашедший с улицы просто полюбопытствовать нашим византийским богослужением и послушать благостное церковное пение, может свободно приобрести эту Библию. Так ведь, Марья Филипповна?

Свечница радостно подтверждала слова Питирима.

Но чтобы «с улицы» реально купить эту Библию, надобно было стоять прямо в хвосте за этой делегацией пасторов, патеров, буддистских монахов и раввинов, и как только архиепископ их уводил угощать в трапезную чем Бог послал, тотчас сунуть рекомой Филипповне в руки желтую «сотку» и вырвать у нее заветную книгу, которую та уже утаскивала с глаз долой под прилавком...

При десяти тысячах тогдашних православных церковных приходов от Ужгорода до Сахалина вряд ли в половине из них был хотя бы один экземпляр такого вот питиримовского молитвослова, даже у духовенства. О прихожанах здесь нечего и говорить. Мне доводилось видеть молитвенники, переписанные от руки, и такие же Евангелия, и такие же изречения из святых отцов, выуженные цитатами из атеистических «кирпичей», которые издавались — противу трудов Питирима — миллионными тиражами. Благочестивые люди брали такой вот талмуд, сочиненный, весьма вероятно, не без помощи научных сотрудников нашего Музея религии и атеизма, который я охранял по ночам на Таганке от святотатцев, грабителей и прочих несознательных, а зачастую и просто нетрезвых граждан, обитающих на Гончарных улицах и в Коммунистическом тупике, и выписывали оттуда то, что говорили отцы, подвизавшиеся на Синае и в сирийской пустыне Бог знает когда, а научное толкование и комментарий специалистов даже и не читали, не говоря о том, чтобы скопировать все это письменно. Весьма странно, но изречения святых отцов, сколько их ни втапывали в грязь мракобесия, темноты и отсталости рьяные освободители советских людей от пережитков и атавизмов проклятого царского прошлого со всеми этими церквями, монастырями, иконами и прочим, вроде прежде поминавшегося товарища Губельмана, спрятавшегося под благовидным псевдонимом Емелюшки Ярославского, — эти речения, эти духовные прозрения и такие простые слова о самом главном, о самом насущном пробивались через тот умозрительный асфальт и бетон, которыми без устали их закатывали и заливали толстым слоем с 20-х годов члены Союза воинствующих безбожников. Бетон крошился и осыпался, асфальт бугрился и проваливался в преисподнюю, четыре миллиона членов СВБ помирали в назначенный Господом срок и закапывались поглубже в землю нашей родины СССР, а слова и дела простецов родом из 4-го или 5-го веков наследовали этому вот предреченному еще

Иисусом Христом: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». И так побуждали они вслед за Ним...

Но ты отвлекся опять, Сероштан. И я устал от патетики...

Бурдюк — одним из первых — угадал формулу будущей бизнес-модели, по которой в скорые уже 90-е годы обогатилось довольно много людей. Назовем их неточно и весьма обще «православными издателями», потому что, хотя они и издавали православную литературу, не все они следовали заповедям и не все даже являлись церковными людьми. Но были в первую очередь дельцами и коммерсантами.

Бурдюк, угадавший счастливо эту волшебную формулу, отсидел в советской тюрьме. Его последователи в 90-е годы стали уже вполне респектабельными бизнесменами, под церковным покровом, кроме денег, делающие то, что делали и «светские» бизнесмены той смутной поры, т.е. подсиживали друг друга, использовали нечестную конкуренцию, кидали друг друга, не гнушаясь ничем. Но крестились на храмы, проезжая мимо на автомобиле. Так, к примеру, наш Хитрый дурак кинул на деньги даже московский ставропигиальный Даниловский монастырь — взял у них 20 тонн книг под сладкие словесные обещания, реализовал их где-то на юге, затем на часть вырученной наличности купил мандаринов, остальное прогадил и вручил ненужные и уже подгнившие фрукты даниловскому эконому: батюшка, берите хоть мандарины — денег-то нету! Вы же меня не убьете! Мы же все-таки — православные!..

На мошенническую операцию ушло чуть ли не полгода, и книг уже даниловцам было никак не вернуть. Эконом вынужденно взял эти злосчастные мандарины, — ну а куда ему было деваться? Сами ими давились да прихожанам раздавали после богослужения.

Я как-то задal Хитрому дураку вопрос о сути его бизнеса и получил такой вот ответ:

— Суть, Сероштан, тут такая: найти лохов, развести их и кинуть, — и привычно продолжил: — Мы же православные, так что опасаться мне нечего. Это эти, другие... Вот те — могут убить...

На мое недоумение по этому поводу Хитрый дурак твердо ответил, что на его век — в Москве и в целом в обширной России — «лохов хватит». На дворе были 90-е годы...

Такие вот убеждения не мешали ему быть при случае «святее папы римского» и орать на затюканных жизнью поварах в придорожном кафе где-то под Пензой, предложившим нам шницель с картошкой, что сейчас, мол, Рождественский пост и как вы смеете нам, таким православным-церковным и незапятнанным, предлагать шницель, сопровождая этот словесный понос чуть ли не матерщиной. И последнее о нем: каким образом он закончил наш институт и получил диплом, остается только догадываться. Он никогда ничего на писал, — Аркаша по этому поводу все смеялся: однажды он видел заглавие, придуманное Хитрым дураком — «Усмешка Мефистофеля», но дальше заглавия дело у него не пошло. Наверное, для чего-то нужен он был на Тверском, 25. И били его там башкой о батарею на Добролюбова за приставания к чужой жене, и по полгода он жил в Крыму как ни в чем не бывало, и не писал ничего, кажется, — но его почему-то не отчисляли из института. Он и так-то не был особенно умным, а после встречи с батареей на Добролюбова совсем стал болваном. Но вот исхитрившись в 90-е годы успешно мошенничать... Пока ехали мы с ним в грузовике в Волгоград, я расспросил его о том и о сем, затем сопоставил услышанное хронологически — и вдруг обнаружил два выпавших года из общей картины.

— Где же ты был в эти два года, С.?..

Как же окрысился он, чуть ли не пеной истек!..

Так я и понял, что Хитрый дурак два года до института провел в зоне. Краткость срока указывала все на то же — на банальное воровство. Но о том никто не знал.

И ты с таким чмошником пытался кашу сварить?.. Четко он нашел свою нишу...

Виктор Бурдюк во избежание идеологического конфликта с властями в дружественной типографии, а не на ксероксе, как я, размножал и распространял исключительно выпущенный Питиримом черный молитвослов, на котором стоял гриф и исходные данные издательского отдела, — официальное питиримовское издание «типографская компания» старалась повторить один к одному, чтобы никто не смог различить «близнецов». Сегодня Бурдюк перечисляет еще ряд книг, которые они вроде бы издали, но я знаю только о молитвослове, о нем и буду говорить. Не исключаю, что спустя 40 лет наш бывший бригадир слегка приукрашивает эту историю, что по большому счету неважно. А важно то, что молитвослов, изданный Бурдюком, продавался, можно сказать, грузовиками прямо «с колес» — храмы Москвы и Подмоскovie, изнывающие от «безрыбья», записывались чуть ли не в очередь на приобретение столь важной и насущной для православных книги. Молитвослов стоил немало, я сегодня не помню, к сожалению, за сколько именно, но его у Бурдюка и «типографской компании» отрывали с руками, — да это и понятно: в храмах делалась чуть ли не двойная наценка,

а может быть, и тройная, и книга продавалась только своим, без огласки и влет. Поэтому храмы, которым требовались немалые суммы на реставрацию и различное благоустройство, тоже не оставались внакладе. В общем, эти операции всем были выгодны — и издателям, и церковным старостам, и священству. Ну и, конечно же, — и в первую голову — самим людям, каждому из нас, которые в храме искали и находили душевную тишину, успокоение, а то и спасение. Молитвослов был невероятно нужен, востребован. Но, конечно же, все это шло вразрез с позицией официальных властей.

Участники предприятия успели построить с немислимых доходов хорошие дома в ближнем Подмоскowie, прежде чем один из бдительных старост, чья идеологическая верность Совету по делам религии превозмогла корыстные и понятные человеческие интересы, не стукнул то ли ментам, то ли ГБ, и «типографскую компанию» повязали.

Допрашивали следователи и нас с Юрой Калининым как работников сторожевой бригады Бурдюка, но мы и не ведали ни о чем, а если бы даже и ведали, то все равно не сказали бы. Да у следователей и без наших вполне формальных допросов материалов для судилища вполне хватало — откуда-то же взялась цифра в 90 тысяч экземпляров, о которой говорит сам Бурдюк. Конечно, большинство старост и священников клира умолчало об истинных размерах сотрудничества с «типографской компанией» — сами книги были давным-давно проданы, полученные деньги истрачены на текущие нужды, и вряд ли улов у милиции был таким уж обширным, но 90 тысяч экземпляров хватило вполне для отчета о проделанной работе. Но КГБ там не к чему было прикопаться — и в этом состоял гениальный замысел Бурдюка — молитвослов был один в один скопирован с легального питиримовского. Вероятно, и сам издательский отдел патриархии привлекали к экспертизе, может быть, искали и пособников там каких-то, кто передал Виктору вожденный редкостный экземпляр или, страшно сказать, офсетные пленки для последующего бесконтрольного размножения, и Питирим вынес вердикт с облегчением: молитвослов этот — не наш, и патриархия ни в чем перед властями неповинна: «он сам пришел!» Идеологическую составляющую, потянувшую бы на 10-12 лет лагерей, «типографской компании» не приплели — просто хищение бумаги и краски в особо крупных размерах и неправомерное использование государственных типографских мощностей. Я даже не могу сегодня сказать, по сколько лет дали ребятам, не могу и сказать, остались ли за ними построенные в Подмоскowie дома или их все-таки конфисковали, — я если и знал, то уже об этом всем просто забыл за ненадобностью.

Пока Виктор Бурдюк отбывал наказание за молитвослов, жена его бросила — муж хорош только тогда, когда приносит в дом деньги, — это понятно. По выходе из зоны в самом конце 80-х годов оказалось, что и сам Бурдюк, так и Блохин стали писателями: Виктор — поэтом, Коля — прозаиком. Обоих приняли в Союз писателей. Блохин даже стал лауреатом Патриаршей премии несколько лет назад. Затем принял священный сан и отбыл нести послушание исповедничества и духовного окормления чуть ли не в ту самую зону на Дальнем востоке, где отсидел несколько лет. Чем ныне занимается Виктор Бурдюк, мне неизвестно. Молитвословами и религиозной литературой теперь завалены иконные лавки и книжные магазины при храмах, спрос не просто удовлетворен, но многократно превышен. Один наш приятель по благословению старца-духовника, мало что понимавшего в книжном деле, тиражом в 45 тысяч издал многотомник «Жития русских святых», — даже не представляю, куда он его дел. Так что и тут применима парадоксальная формула композитора Владимира Мартынова, что 70-80-е годы 20-го века были наиболее свободным временем не только для подобных ему творческих людей, но и для православных коммерсантов вроде Виктора Бурдюка и его «типографской компании».

Так была проложена прямая дорога к хорошим деньгам будущим нашим православным издательствам.

Чем мы занимались там, охраняя Музей религии и атеизма? Да ничем особенным и не занимались: Юра играл на гитаре и расхаживал по дворцу Зубовых-Полежаевых в махровом халате, воображая себя старорежимным барином, принимал разноликих и забытых приятелей, к которым тоже вполне можно было применить пушкинскую формулу «от нечего делать друзья», я, находя в этих дежурствах передых от малых детей и замученной коммунальным бытом Агнешки на Трубной, сидел в тишине в библиотеке за увлекательным чтением кашпадокийцев, а потом продирался через глубокие умозрения Григория Паламы о нетварном свете Фавора.

Через какое-то время подружился с незащитившимся кандидатом искусствоведения Валерой, которого несколько времени тому назад изгнали бдительные идеологические ригористы из Института истории искусств за неподобающие изыскания того, о чем его не просили. Он, как внештатный сотрудник журнальчика «Студенческий меридиан», зацепился коготком в новом здании издательства «Молодой гвардии» на 1-й Хуторской

улице с некоей довольно бредовой идеей устройства в коридорном зальчике-тупичке там экспозиции на тему «Ученые рисуют», — комсомольцы неожиданно проект этот одобрили и наименовали его «Время — пространство — человек». Идея оказалась простой до гениальности: Валера предложил знакомым ученым, которые на досуге баловались мольбертом и кистью, изобразить живописно, как они представляют себе близкое будущее. Уважаемые академики и профессора начали малевать планеты, космос, пришельцев, космические аппараты и все в этом духе, а Валера тем временем бросил ключ по московскому художественному подполью, ядро которого составляли все те же непреременные «20 московских художников» с Малой Грузинской и из горкома графиков, которые занимались тем, что впоследствии высоколобые интеллектуалы назовут Вторым авангардом, в отличие от Первого 1910-20-х годов, связанного с именами Поповой, Татлина, Малевича, Гончаровой и прочих знатных людей, и художники, несмотря на весь свой понятный скептицизм по отношению к идее выставляться в 17-этажном идеологическом монстре на 1-й Хуторской улице, все же снабдили Валеру своими картинами. Кроме того, пока собиралась выставка по мастерским и разным загашникам, Валера нежданно совершил настоящее художественное открытие — разыскал и вывел из забвения группу художников 20-х годов под названием «Амаравелла», которую в начале 30-х годов разгромил НКВД — художники большей частью погибли в лагерях, выжил один лишь Смирнов-Русецкий, восемь лет проведенный в ГУЛАГе как политзаключенный, — он-то по своим старым связям со вдовами художников Сардана, Фатеева, Черноволенко, Шиголева — и предоставил под гарантии комсомола для Валериной футуристической выставки их картины, хранящиеся в некотором небрежении и совершенном забвении. Валера за остывшим стаканом индийского чая «со слоном» мог буквально часами рассказывать мне об этих картинах — я их воочию, конечно, не видел, и имена художников были для меня неизвестны, но музыкой звучали в устах моего нового друга-атеиста наименования полотен с той выставки: «Созерцание черного космоса», «Вселенная конечная и бесконечная», «Дорога в космос», «Космическая геометрия», «Туманность Лиры», «Ступени (Полусферы)», «Млечный путь», «Шествие», «Свет несказанный», «Рождение материи», «Мысль, материя, архитектура», «Поэма неба и земли»...

Я слушал все это с замирающим сердцем. Не верилось, что обо всем этом мы разговариваем в пещерном атавизме совдеповской губельмановщины и погрома.

— Понимаешь, — говорил Валера, — рядом с работами «Амаравеллы» веяло мистической бездной «четвертого измерения». Несомненно, под влиянием Руны, жены Петра Успенского, его мистическая концепция могла увлечь художников «Амаравеллы» не меньше, чем десятилетием раньше увлекла русских авангардистов. Принцип «расширения сознания», о котором писал Успенский и которому пытался следовать Матюшин в живописи, а Петр Митурич в бумажных кубиках «Пространственной азбуки», нашел воплощение в цветочных композициях Сардана и Черноволенко. Над плоскостью небольших рисунков вздымалось непостижимое. Море выходило из берегов, становилось небом. Они творили по наитию, устремлялись к непостижимому. Их трагическая судьба была, видимо, неизбежна: insult у одного, алкогольное безумие у другого. Мозг не выдержал соединения несоединимого, неземной свободы...

И он восклицал, бегая по кабинету заведующей православным сектором Веоры Ивановны — как специально по непридуманной фамилии — Архиреевой.

Ну это же типично вполне, Сероштан: фамилия последнего председателя Совета по борьбе с религией была Христаранов...

— И тут меня осенило, Сероштан: «четвертое измерение» в пространстве создает звук, светозвук, ты понимаешь?!.. В бесконечности звуки обретают вселенские ритмы, становятся музыкой, мыслью, словом...

— Валера, говоря другими словами, ты подразумеваешь, как работник этого замечательного музея, универсальность православного храма, сочетающего в себе все то, что ты только что перечислил. Но сюда еще, кроме всего, следует добавить и запахи — ладан и благовония при елеопомазании, — и это только телесное, даже мысль со словами все же по большому счету телесны, душевны... А ведь в храмовом богослужении еще дышит и Дух Святой — глаголами неизреченными, как о том говорит нам апостол Павел...

— Ну, вот дыхание Духа и считай теми вселенскими ритмами, пожалуйста...

— Валера, но мы таким образом — при помощи этих картин «Амаравеллы» — вторгаемся в непознанное, или, как сказали бы наши братья-китайцы, запретное, откуда обратного пути уже нет...

— Ну я ведь и сказал уже о том тебе, Сероштан, о печальной участи тех, кто переступил эту черту — алкоголь, сумасшествие, ранняя смерть...

— Да, за все надо платить... То же и у писателей, особенно у поэтов. Если они не просто профессионально сочиняют истории для развлечения привокзального охлоса,

но пытаются пройти туда, куда не ступала еще нога человека... Тут уже встает вопрос о том, нужно ли это? И если нужно — то для чего? И чем дальше мы будем продвигаться в этом направлении, то все больше и больше будет подобных неразрешимых вопросов. Зыбко все — и опасно...

— Ну а что, оставаться простецом-невегласом? Таков выбор, по-твоему? Зачем тогда Гомер сочинял «Илиаду»? А Сократ с Платоном-Аристотелем-и-Ксенофонтом, вместо того, чтобы радоваться жизни, античному солнцу и свежему афинскому воздуху на сипосиуме с чашей не очень растворенного сладкой ключевой водою фалернского вина и с прекрасными флейтистами, задавали друг другу бесконечные и сложные для понимания вопросы, записывали их, дорабатывали и домысливали за лукавым мудрецом, который знал только то, что «ничего не знал»? Зачем Порфирий писал «Подступы к умопостигаемому»? А Прокл — свои «Начала теологии»? Зачем, в конце концов, — раз уж мы разговариваем с тобой в этих стенах — столпники десятками лет стояли на своих рукотворенных столпах, а киевские монахи сидели в затворах на одном сухаре и чашке воды в день, а кое-кому и того было мало, и он еще закапывался в землю по грудь, как князь — заметь же! — князь Никола Святоша, правнук Ярослава Мудрого? Разве не ради постижения истины, которая сделала бы их свободными? Разве не ради того, чтобы хотя бы краем глаза единожды увидеть и ощутить даже не фаворский свет, как тот же Палама, а хотя бы отблеск, слабый отсвет его?..

Примечательное место для таких разговоров, конечно... Архиреевой не икалось ли поутру? Мало того, что убавился в коробке дефицитный «индюшка», да и сахару оставалось на донышке банки, а вроде бы недавно ее досыпала до верха...

Ну, не на гитаре же играть вместе с Юрой Калининым в попытках симитировать великий Tago Mago, 1971 года западногерманских краутрокеров Сап...

С Валерой мы расходились далеко за полночь — он отправлялся в свою холостяцкую коммуналку на Чистых прудах, я же устраивался на затрапезном диванчике, доставшемся музею от общества «Знание», которому в свою очередь диванчик достался от Союза воинствующих безбожников, который прикрыли в 1947-м году, и на том диванчике, чем черт не шутит в подобных местах, вполне посиживал в редкие минуты отдохновения от трудов и борьбы с религиозным мракобесием и дурманом сам Миней Израилевич Губельман...

Или полеживал с безбожницей-секретаршей, которая в некоторых умениях своих превосходила многих и многих воинствующих членов СВБ, которых к 1940-му году уже насчитывалось, между прочим, шесть миллионов...

Иногда я бродил по экспозиции, с интересом рассматривал артефакты. Было кое-что и совсем забавное: нашлась там такая вот коробка с настольной игрой с замечательным наименованием «Я безбожник, а ты?» Пришлось потрудиться и положить голову над правилами и принципами ее:

«Первый из играющих вертит волчок в белом кружке, стараясь дать ему направление в сторону картинок, отображающих социалистический строй... Если волчок попадает на кружок с богом — играющий выходит из игры и начинает её снова, теряя все очки, до сего момента набранные. Победивший в игре объявляется безбожником и получает членскую книжку Союза безбожников СССР». (Издательство «Труд и творчество», авторы С.Хальский, Т.Евсюкова, Москва, 1931 год).

— Юра, Валера, — предлагал я друзьям, — давайте сыграем в эту игру!.. Пусть неумолимый жребий покажет меру вашей веры и безмерность неверия!..

Но мои конфидененты кривились и отказывались, словно я предлагал им заняться чем-то гадким и неприличным.

Увы, такова уж участь этой странной игры. Интересна судьба создателей ее Хальского и Евсюковой. Как они закончили свои дни на земле? И какое посмертное воздаяние получили их души?..

Понятно, что это было чистой халтурой — ради денег — увы, даже и небольших, — но в том-то и уловка всех этих губельманов, чтобы замарать нравственной грязью как можно больше людей. Придумали игру, получили денег на ржавую седелку и хлеб... Ведь и апостол Иуда не так много получил за предательство Спасителя. Только вдумайся: Самого Бога продать за пятак, за 30 сребреников... Правда, он потом раскаялся, бросил сребреники на пол в храме и пошел удавился.

Какая разница между этими терминами: раскаялся и покался?

Покаяние подразумевает все же прощение от Бога — пусть даже и при соблюдении формальных некоторых условий — от называния греха грехом вслух священнику, что вызывает некоторое смущение и неловкость, свидетельствующие о том, что душа у тебя не заскоружла еще, и вплоть до выполнения епитимьи, каковой неявно и прикровенно являются обязательное чтение канонов и соответствующих молитв,

несколько дней воздержания от скоромной пищи, телевизора и плотских супружеских отношений, а вот раскаяние — это более глубокое и, можно сказать, даже губительное состояние, насколько можно судить по апостолу Иуде Искариотскому. Раскаяние — это нечто не имеющее обратного хода, пути. Я сделал то-то и то-то — раскаиваюсь и жалею, но уже не исправить того, что я сделал. Раскаяние зачастую влечет за собой и отчаяние — опять-таки в силу этой вот невозможности исправить, отменить. Вот ты по неосторожности убил человека. Тебе хотелось бы его воскресить и чтобы ничего этого не было. Но ты — не можешь этого сделать. Да, ты раскаиваешься, но это не отменяет уголовного и судебного наказания за это деяние. Вот «Преступление и наказание» Достоевского — оно как раз о раскаянии, но сопряженном в конце концов и с покаянием. Грех Иуды — кем и как мог быть прощен? Разве что воинствующими все теми же безбожниками Губельмана, которые воздвигли после революционного переворота памятник ему из... Догадайся сам — из чего...

«И тогда в Свияжск отправили наркомвоенмора Троцкого. А вместе с ним литературный бронепоезд. [...] Поезд все же в какой-то степени оправдывал свое название. Кроме известного публициста Троцкого, на нем приехали несколько пролетарских писателей и первый в мире памятник Иуде Искариоту. Главное событие, ради которого так старательно уничтожали местное духовенство, было впереди. Скажу сразу, что пассажиры поезда Всеволод Вишневский и Демьян Бедный не оставили об этом своих воспоминаний. Поостереглись. А вот малоизвестный датский писатель Галлинг Келлер не удержался. По его словам, «местный совдеп долго обсуждал, кому поставить статую. Люцифер был признан не вполне разделяющим идеи коммунизма, Каин — слишком легендарной личностью, поэтому и остановились на Иуде Искариотском как вполне исторической личности, представив его во весь рост с поднятым кулаком к небу». Памятник Иуде простоял в Свияжске недолго. Потом его незаметно убрали, а на тот же постамент водрузили бюст Ленина», — таково сообщение в статье «Ангелы и демоны острова Свияжска» в «Российской Газете» от 28.09.2007.

Другой источник — «Вечерняя Казань» №113 (3055) в статье «В городе, которого уже нет, было два Иуды» подтверждает:

«Открытие памятника прошло назавтра или через день после казни настоящего обителя, то есть 11 или 12 августа 1918 года. По этому случаю в городе состоялся парад двух полков Красной армии и команды бронепоезда, прибывших сюда вместе с Троцким. Председатель местного совета произнес «пламенную» речь, после чего под звуки военного оркестра с гипсового истукана сдернули чехол, и взорам присутствующих предстала буро-красная фигура человека — больше натуральной величины — с обращенным к небу лицом, искаженным гримасой, судорожно срывающего с шеи веревку. По другой версии, никакой веревки на шее у гипсового Иуды не было, и он грозил небу поднятым вверх».

— Валера, — говорил я другу-искусствоведу, — но как вы со всем этим ухитряетесь жить в едином пространстве этой усадьбы — с вот этой хренью, изобретенной на посмешище вашим Губельманом во дни оны?..

— Ухитряемся и живем, — отвечал мне Валера. — Скажу тебе больше того: госпожа Архиреева очень страдает от одной мысли о том, что вот на чердаке ленинградского побратима-музея в Казанском соборе отыскали сперва мощи святителя Иоасафа Горленко — отдали их церкви, сам Иоанн Попов, епископ новообразованной епархии приехал торжественно их перевозить в Белгород, — ну, это Архиреева пережила. Но когда там же вскоре откопали в шлаке все на том же чердаке мощи преподобного Серафима Саровского, она не на шутку обиделась: почему не у нас, не в Zubовском особняке?

— Как будто можно было здесь судьбу выбирать?

— Ну и потом, ты же помнишь, с какой помпой наши церковники переместили их сперва из Питера в град Москов, а затем из Елоховского по Старой Басманной и далее — до самого Дивеева растянулось миллионное шествие православных, где только-только возродилось что-то церковное... Только теперь Веора Ивановна и осознала масштабы происходящего тектонического, можно сказать, сдвига по фазе...

— Масштабы — это понятно, но осознала ли она суть этих событий?

— Суть же проста: никакого безбожия и атеизма как не было, так и нет, сколь ни играй в твою разлужбазную игру «Я безбожник, а ты?»

— Или сколько ни воскуривай словесный фимиам неразумно утраченному памятнику Иуде Искариотскому...

Так мы препирались шутливо с Валерой. Но, конечно, эти события с изменением коллективного сознания затрагивали и нас, как и перестроечная эйфория с сотворением кумира из Ельцина как спасителя Отечества и буревестника новых времен.

О группе художников «Амаравелла» Валера в 80-е годы опубликовал статейку в

каком-то малоизвестном альманахе типа «Памятников Отечества» и с выставкой «Время — пространство — человек» пару раз объездил практически весь СССР как куратор ее и экскурсовод в едином существе. Несмотря на малоизвестность и непрезентабельность издания, поместившего статью об «Амаравелле», забытая группа 20-х годов была введена в искусствоведческий оборот — такое было время тогда, что даже ведомственные и узкие по специализации издания, разместившие интересные и редкостные материалы, размножались затем на ротапринтах, «Эрах» и ранних, невиданных прежде аппаратах под названием Хегох и расходились по рукам творческой и художественной интеллигенции. Но через какое-то время гастроли по городам и весям, по братским республикам и их столицам закончились — кто-то особо бдительный рассмотрел не особенно тщательно скрывааемый авангардизм передвижной выставки, кутающейся в дырявые ризы идеи о том, как «ученые представляют себе близкое будущее», — и был задан резонный и давно ожидаемый вопрос: а разве наше будущее — вот эти странные космические объекты и туманности Андромеды? Разве — не коммунизм? И при чем тут группа «Амаравелла», справедливо осужденная и разгромленная недремлющими чекистами в 30-е годы за преступление перед советской властью и мировым пролетариатом? И какое отношение «Амаравелла» имеет к нынешним лауреатам и академикам, увлекающимся в свободное время на академических дачах любительской живописью или стихами? Так Валеру уличили в должностном подлоге и в идеологическом преступлении. Выставку прикрыли, хорошо еще, удалось картины вернуть художникам из горкома графиков и с Малой Грузинской, а полотна «Амаравеллы» — вдовам и наследникам их. Валеру спешно задним числом изгнали из штатников «Студенческого меридиана», благое дело, что это было вовсе несложно, потаскали на допросы в ГБ — ведь местечковый бдительный фрумкин не без оснований заподозрил и идеологическую провокацию «Времени — пространства — человека» с дальнейшим освещением происходящего на вражеских «голосах», комсомольцы-издатели в 1-й Хуторской получили нагоняи и выговоры без занесения в личное дело, — и Валера оказался на улице без гроша в кармане.

Он пробавлялся тем, что, имея недюжинную подготовку в области искусствоведения, — ну, не скажу, что традиционно-советского, скорее альтернативного, — за умеренный гонорар сочинял диссертации для чающих ученых степеней заместителей директоров различных учреждений Министрства культуры, снабжая свои тексты необходимым набором обязательных к употреблению цитат из бессмертных классиков марксизма-ленинизма; под псевдонимами или просто под чужими именами писал и публиковал мелкие заметки как в многочисленных изданиях, базирующихся все на той же 1-й Хуторской улице, так и в простых народных журналах типа «Смены» и «Работницы» с «Сельской жизнью», т.е. вел жизнь типичного московского интеллектуального маргинала, пребывающего с хлеба на воду случайными заработками. Таковых людей вокруг меня было немало: Володя Шикин писал под чужим именем статьи для «Советской энциклопедии», Геннадий Русский сотрудничал примерно с теми же изданиями, что и Валера, включая журнал «Охота» и журнал для путешественников «Родные просторы» — и тоже под чужими именами, Анатолий Кудинов, близкий друг легендарного знатока-москвовед-писателя Петра Паламарчука, написал несколько дипломных богословских работ для нерадивых семинаристов-академиков из Загорской духовной семинарии. Так и Валера «приложился к святынке», можно сказать: под именем величественного архиепископа Питирима сочинил большой и в допустимую меру по тем временам аналитический текст для юбилейного патриархийного издания к 1000-летию крещения Руси равноапостольным Владимиром, получив солидный гонорар, на который, по его словам, он жил почти что полгода. Но в штат издательского отдела МП Валеру все же не взяли, хотя он имел такую тайную надежду: Питирим никогда не имел дела с подозрительными для государственной машины людьми. Но и новых заказов Валере не сделал, на всякий пожарный. Не скажу, что сам архиепископ воткнул Валеру, как знатока, на штатную должность младшего научного сотрудника в Музей религии и атеизма, — слишком уж незначительной фигурой был для него наш Валера, но вполне вероятно, что кто-то из издательского отдела, с кем Валера напрямую сотрудничал, пока готовил «питиримовский» материал, сделал протекцию госпоже Архиреевой и «галактическому» директору Николаю Порфирьевичу Нипонскому, и Валеру сперва приняли на пару месяцев на испытательный срок, затем взяли, как говорилось тогда, на «полставки» на мелкую должность что-то атеистическое там систематизировать. И хотя Валера, как член горкома графиков, был защищен от преследований милицией за тунеядство, но все равно мы с ним отметили это событие парой бутылок «зубровки» и застольным пением одной из песен о Сталине из сборника, найденного в музейной библиотеке. На мотив, правда, Imagine Джона Леннона.

Конечно, господа Архиреева и Нипонский уже не были такими дуболомами,

как их дедушка Губельман-Ярославский, и не писали в ЦК и в Политбюро письма с требованием взорвать храм Василия Блаженного на Красной площади и Успенский собор в Кремле, дабы не осквернять Щусевский поклонный зиккурат мавзолея с нетленными мощами великого кормчего коммунизма, куда стояли километровые очереди самаркандских колхозников в полосатых халатах, тем более они были против расстрелов православного духовенства и раввинов с муллами. Политику партии, применяемую с 1943 года по отношению к церкви, они четко поняли и приняли без рассуждений, отдавая должное сталинской мудрости и звериному нюху. Но, конечно, не без дрожи в голосе товарищ Нипонский вспоминал о бывлых замечательных деньках, когда он, к сожалению, еще не родился, а газетные развалы нэпмановской Москвы пестрели такими замечательными изданиями, которые только и сохранились, что в экспозиции нашего Музея религии и атеизма, как ежемесячные журналы «Революция и церковь», «Безбожник у станка», «Воинствующий атеизм», «Юные безбожники», «Безбожный крокодил», «Наука и религия» (в том числе на татарском языке «Орен-ым-Дин» — для антирелигиозников мусульманских народностей).

— Примечательно, — говорил на политинформации товарищ Нипонский, на которой он обязал быть и полному составу нашей сторожевой бригады во главе с Виктором Бурдюком, — что британский парламент тогда запретил ввозить в страну «Безбожника» как аморальное издание... Представляете, товарищи, какова была сила тогдашнего печатного слова?..

Мы с Валерой переглянулись: а на чем тут надо было сделать смысловое ударение: на «аморальности» «Безбожника» или на самом журнальчике этом как полиграфическом артефакте?

А тем временем Бурдюк тайно печатал «питиримовский» молитвослов, а явно поддакивал нашему работодателю:

— Ну, конечно, не то что сейчас: по дворам с лекциями о вреде религии никто не ходит, по квартирам иконы не ищут, демонстраций по профилю уже нет никаких, кроме первомайских и октябрьских...

А Нипонский подхватывал:

— Ну а что? Хорошо бы безбожные демонстрации возродить, в плане зеленых «маевок» или просто организованных массовых гуляний по московским бульварам, — тут Николай Порфирьевич морщил в раздумье чело, — может, написать Горбачеву?.. Хотя нет — как тут напишешь, если они выпустили Джина из бутылки с этим своим 1000-летием... Смотрели по телевизору репортаж из Киева?..

Смотрели. Кажется, сами иерархи, стоявшие на киевской Владимирской горке, не верили своим глазам и ушам всему, что там помимо их воли и разума происходило.

Но руководство музея изо всех сил тужилось и демонстрировало обществу свое неустанное попечение о великой и святой идее, которой текущие события явственно угрожали. Да и как было не тужиться? Ведь на стендах стояли-лежали замечательные издания книг отца-основателя Губельмана, а 7 февраля 1925 года считалось днем рождения Союза безбожников и широко отмечалось обильным винопитием в кабинетах научных сотрудников, и даже нам с Юрой Калининым наливали разведенного по этому случаю медицинского спирта и давали закусить винегретом из ближней кулинарии в Коммунистическом тупике.

А какие названия книг? Это же песня!.. Миллионные тиражи, бесконечные переиздания... Тебе, как писаке с Грачевки, особенно это было же интересно, Сероштан!..

Когда и где еще поименовать этих героев былого величия и издательского благополучия? «Библия для верующих и неверующих», «Русские святые перед судом истории», «Нужен ли колхознику Бог?», «Атеизм Пушкина», «Как родятся, живут и умирают боги и богини»...

Именно Губельман в свое время составил списки запрещенных книг и музыкальных произведений. А вот еще один перл работника антирелигиозного движения некоего Д.Е. Михневича, 1953 года издания: «Очерки из истории католической реакции. Иезуиты». Вот как сам автор описывал свое произведение:

«Пропагандистский памфлет против «Общества Иисуса», Католической церкви и Запада вообще. Собраны все возможные и невозможные обвинения, произведённые в течение веков протестантскими, православными и коммунистическими авторами. Местами вызывает приступы смеха».

Мы о музыке много здесь говорим, Сероштан, а вот какую именно музыку требовал запретить Губельман?

Церковную, какую еще. Читай же — практически всю. А каковой вообще была музыка последнего тысячелетия, начиная с Хильдегарды Бингенской, жившей в 12 веке, и заканчивая литургическими сочинениями Арво Пярта и Джона Тавернера?

Конечно, славный сын Израиля Губельман не дожид до этих композиторов. Но вполне хватило ему и наличествующих тогда, в пору его партийно-пропагандистского расцвета: к запрету предполагались такие вот славные люди, как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Моцарт, Бах, Гендель и другие. Рылом не вышли они Израилевичу. Имя Хильдегарды Бингенской, ясное дело, читинский недоучка Емелюшка не знал, а так бы и аббатису отправил бы под арест и в сугубое молчание.

«В данный момент, — писал вовсе не наш Губельман, — церковная музыка, хоть бы и в лучших её произведениях, имеет актуально-реакционное значение», а следовательно... — делай выводы сам. Туда же, в прокрипционные списки, отправились и книги Платона, Иммануила Канта, Владимира Соловьёва, Льва Толстого, Фёдора Достоевского и прочих заблуждающихся и недальновидных писателей и неразумных мыслителей. Да и кто таков — какой-то Платон, понимаешь, — противу «головы» — Губельмана-Ярославского?

Но разве он огин такой был?

По этому пути чуть позже и чуть дальше пошел Адольф Алоизович Гитлер, но это уже из другой совсем оперы, разыгранной на подмостках истории 20-го скорбного века. Журнал же «Безбожник», который мы соборно цельным архивом охраняли и лелеяли с Юрой Калининым, Бурдюком и Валерой в Зубовском особняке на Таганке, печатал статьи большевистских лидеров, дававшие ориентиры для деятельности местных партийных и советских структур, такие как, к примеру: «...выселение богов из храмов и перевод в подвалы, злостных — в концлагеря» — так с юмором висельника писал «любимец партии» «Бухарчик», как его ласково до известной поры называл товарищ по партии Иосиф Виссарионович Сталин. И Энди тут же с упоением вторил наш Емелюшка Ярославский в «Правде» в статье 1929 года под названием «Соцсоревнование и антирелигиозная пропаганда»:

«...одним из убежищ, одним из прикрытий для крестьянина, который не хочет в колхоз... остается религиозная организация с гигантским аппаратом, полтора-два миллионами активом попов, раввинов, мулл, благовестников, проповедников всякого рода, монахов и монашек, шаманов и колдунов и т.п. В активе этом состоит вся маховая контрреволюция, ещё не попавшая в Соловки, ещё притаившаяся в складках огромного тела СССР, паразитирующая на этом теле...»

Меня снова начинает подташнивать: давно уже не слышал такого суконного агитпропа...

И вот — 1937 год — пик торжества идей коммунизма, 20-летие Великой Октябрьской революции — и время уже подводить итоги тектонических сдвигов 10-х годов и ответить народу: зачем и к чему все это было затеяно? Каковы итоги и каковы результаты? Но вместо вменяемого и ожидаемого ответа: новые казни и переполненные тюрьмы, уже просто не вмещающие негодный человеческий материал. «Что-то пошло не так?» — такой вопрос мог привести только к расстрельной стенке или к общей могиле во рву где-нибудь на Колыме. Безбожие, яростно насаждаемое и пропагандируемое воинствующими безбожниками, все никак и никак не приводило освобожденных трудящихся к коммунизму. И кем же трудился в эти непростые и опасные времена наш незаменяемый Губельман?

Все там же...

Правильно, где же еще: в 1934-1939 — член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), как сообщает о нем Википедия, то есть, говоря другими словами, сидел, как паук, в самой сердцевине «большого террора», как это время затем назовут обиженные и оскорбленные потомки репрессированных не без участия Губельмана красных комкоров, старых большевиков и заслуженных чекистов 20-х годов — тех, кто в свое время щеголял, как известная Мурка — «в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган». Ведь и кровавые людоеды-наркомы НКВД — Ежов с Ягодой — они ведь тоже жертвы «большого террора», тоже «ни за что» пострадали... Сталину требовались верные люди для таких вот палаческих дел — и недаром на одной из карикатур под ногами Кобы-Сосо на короткой цепи изображен наш Губельманушка с ницшевскими усами, яростно гавкающий на врагов партии, Сталина и народа — таким он и был, по сути своей: безжалостно рушил не только церкви и из древних монастырей устраивал тюрьмы-узилища, но и сносил невинные головы героям гражданской войны, большевикам-ленинцам со времен совместного бедования в Цюрихе и Женеве и голода в парижском пригороде Лонжюмо...

Но то, что делали в Крыму Бела Кун и Землячка с белыми офицерами, сложившими оружие, а затем по всей стране, сперва захлебнувшейся кровью и затем помирающей от голода, я уж молчу о коллективизации со всеми сопутствующими ужасами — нет, все это было правильно, дорогие товарищи, так сказать, классовая борьба,

предсказанная Марксом, и вовсе недостойно называться «большим террором». Вот уничтожение своих комиссаров в пыльных шлемах, с ног до головы покрытых запекшейся русской кровью — вот это и есть самое страшное сталинское преступление: большой, громадный террор... Выбросить тараканище из мавзолея! Не паскудить соседством такой светлую память вождя мирового пролетариата!..

И какую же благодарность от Сталина получил наш верный безбожник? Ну, кроме, само собой, Сталинской премии 1-й степени в 1943-м году за свою оголтелость и бесценную научную деятельность по утверждению печатных итогов гражданской войны? А вот какую: 4 сентября 1943-го года Сталин призвал в Кремль на переговоры троих насмерть перепуганных иерархов разгромленной не без помощи Губельманища РПЦ — и на свой лад возобновил некие странные отношения: позволил престарелого митрополита Сергия Старгородского избрать патриархом, отдал с барского плеча Троице-Сергиеву лавру монахам, разрешил открыть несколько духовных семинарий и возобновить крошечный просталинский «Журнал Московской патриархии», затем вернул из ссылки и лагерей тех священников, кто еще остался в живых, но не всех, и все в таком духе. Наш ницшеанец не только по действию, но и по форме пышных усов, такого предательства Кобой коммунистических идеалов не смог пережить и ровно через 3 месяца, день в день, изгадив Сталину очередное празднование Дня конституции, 4 декабря 1943 года отошел к ненавидимому им Господу в небесные обители, пеплом же своим в нержавеющей капсуле водворившись в краснокирпичной стене коммунистического Кремля неподалеку от Щусевского зиккурата с набальзамированным и так разлюбезным ему Ильичом.

Кажется, самое время попытаться сыграть нам с тобой в эту вот замечательную игру, наиконаную тобой, Сероштан, в научных анналах Музея религии и атеизма в Zubовском особняке «Я безбожник, а ты?»

Сейчас разложим картонное поле. Может быть, и Валера присоединится к нам. Ну а пока стоит еще к слову сказать, чтобы уже закрыть эту тему, что, когда вскоре началось движение за возвращение святых — люди ведь узнавали, в каких местах вроде нашего особняка и Казанского собора в Ленинграде находятся конфискованные мощи святых или части мощей, и стали засыпать престарелого патриарха Сергия прошениями, чтобы он посодействовал возвращению мощей верующим, — у Сталина были, вероятно, какие-то опасения, что это вызовет фанатизм, а затем и свержение новоявленных идолов с самим собой во главе. И Карпов, прежде полковник, а потом уже и генерал-майор НКГБ, глава Совета по делам Русской православной церкви — новообразованного органа, призванного осуществлять связь между правительством и церковью, предлагал во избежание этого просто собрать в одном месте мощи и уничтожить. Думаю, их все и сожгли бы в каком-нибудь крематории и никаких бы мощей не осталось. Но тут товарищ Молотов, курировавший в правительстве духовные учебные заведения, выступил неожиданно против. Не против Сталина, разумеется, — против идеи Карпова.

Из таких случайностей, странных совпадений, переменчивых настроений советских правителей и вождей и сопрягалась жизнь подневольной церкви.

Но не нам с тобой судить о том, а тем более осуждать за соглашательство и уступки кого-то. Крестили, отпевали, ходили в крестных ходах и свидетельствовали о том, что Христос воскрес, — и того было довольно... Если бы Губельмана не превратили бы в пепельную труху, а заколотили бы в домовину, он бы переворачивался бы там, постукивая костями...

Конечно, мой друг и совопросник, младший сотрудник Музея религии и атеизма Валера не был безбожником, как то подразумевалось по должности и месту его неустанных трудов. Он, как и многие люди из обширного интеллектуального подполья Москвы, прошел разные искусства эзотерических и восточных поисков в брахманизме, суфизме, дзэн-буддизме, даосизме и всем таком прочем. В пору студенчества много путешествовал по Армении, Грузии и Прибалтике. Занятия историей советского искусства и живописи — через легендарных героев Первого предреволюционного авангарда — естественным путем привели его сперва к разгромленным в 30-40-е годы художественным группам типа «Амаравеллы» и коллекциям знаменитого Георгия Костаки, который за гроши скупал, или, как он сам говорил, «спасал» — и в этом была известная правда, конечно же, — у художников или их наследников картины, выволакивая из перенаселенных коммунальных клоповников порой громадные по размеру подрамники, которые просто мешали доживать свои скудные и скорбные дни вдовам и детям раздавленных тоталитарным катком мужей и отцов. В конце 70-х годов оживилась художественная жизнь благодаря выставкам на Малой Грузинской, — вернее сказать, что она и не умирала, — просто со знаменитой «бульдозерной»

выставки ничего не выпускалось из художественного котла неофициального искусства, в котором продолжала кипеть и пузыриться разнообразная жизнь, — пробил час, и что-то дали выставить в подвальчике горкома графиков. Конечно, Валера был в числе первых посетителей Малой Грузинской, как, впрочем, и я. В крошечных зальчиках на стенах висели невиданные и прежде даже не представимые картины — Провоторов, Нагапетян, Стерлигова, Фролов и другие — рядом с которыми скромно стояли сами виновники этого нежданного торжества, и с ними можно было разговаривать сколько угодно, — они охотно объясняли, «что хотел сказать автор», как написал рецензент на мою первую книгу, которую завернули по причине такой непонятливости в издательстве «Советский писатель».

На меня большое впечатление произвел многокартинный «Апокалипсис» Виталия Линецкого, с которым я познакомился тут же и даже впоследствии подружился. С тех пор Линецкий во все дни выставки «Московской 20-ки» проводил меня и моих однокурсников, а также компанию с улицы Герцена — Милу, Лику и Аркадия — мимо километрового хвоста очереди из жаждущих попасть на выставку. Наше дружеское общение продолжилось и после, в его мастерской. Валера же, с которым, еще будучи не знакомы в то время, мы терлись боками в людском водовороте на Малой Грузинской, не разделял моих восторгов от «Апокалипсиса», и вот теперь, спустя 15 лет после события, мы продолжали с ним наши бесконечные споры.

— Сероштан, ну как тебе могли нравиться эти анилиновые психоделические цвета? Эти «лучи» и «сияния», эти мистические «световые фигуры» в ночном поднебесье, бесчисленные храмы, поля горящих свечей?

Я, как мог, возражал. Но все же в споре проигрывал: Валера был профессиональным искусствоведам, я же — просто любителем. Да, мне нравился «Апокалипсис», нравился и по-человечески Виталий Линецкий, — он ведь на пути исповедания Православия пошел дальше гораздо своих сотоварищей вроде Харитоновых с его ангелочками, — в 1981 году он принял монашеский постриг под именем Стефана, но тогдашнее состояние официальной РПЦ не удовлетворяло радикального в поступках и в жизни художника — Линецкий отправился в свободный поиск православной духовности и истинной чистоты и оказался в некоей «серафимо-геннадиевской» ветви Российской катакомбной церкви, стал даже митрополитом и после внутренних расколов и расхождений уже в тамошней подпольной структуре возглавил мелкий осколок — так называемую Апостольскую православную церковь. Он не оставил занятий живописью, и мне до сих пор по душе его религиозные картины.

Даже несмотря на то, что твой друг Валера не называл их в ваших спорах иначе, как «киноафишами к фантастическому сериалу «Православие последних времен».

Валера после всех своих увлечений и поисков смыслов стал все-таки православным: общался с о. Дмитрием Дудко, почитал о. Александра Меня, но если использовать в разных толках тогдашнего Православия какую-то цветовую гамму для краткости и понятности того, что я имею в виду, и назвать тогдашнюю Пименовскую РПЦ, затурканную и запуганную советской властью и находящуюся под мощным контролем со стороны уполномоченных Совета по борьбе с религией, — «красной», а противостоящую ей идеологически Зарубежную РПЦ — «белой», то Валера пришел в некое «розовое» Православие. Может быть, здесь свою роль сыграло и увлечением Менем, и пристальное чтение его книг, изданных на Западе... Что я имею в виду? Некое межеумочное состояние интеллигенции, приходившей в ту пору в церковь. Храм привлекал, как я уже говорил, некоей альтернативной реальностью — здесь не провозглашались здравницы генеральным секретарям, не висели вместо иконостаса парадные портреты членов Политбюро, — хотя о том как-то и помечтал в 20-е годы, кажется, Лейба Бронштейн по кличке Лев Троцкий...

Как же — «мечтал»! Вспомни фотографию той поры — Веора тебе показывала в собрании иллюстраций музея: как раз в позолоченной раме иконостаса — вместо икон — портреты Ленина и компании... На самом верху, где иконостас увенчивается крестом — красная пентаграмма, ниже — сам Лейба, еще чуть ниже — Ленин, вместо хоругвей — знамена и транспаранты, закликающие на бой кровавый, вместо мелких икон — разные Оргжоникидзе и прочие, а вот святого Иосифа Сталина пока еще не висать в иконостасе...

Да, как-то раз Веора Ивановна показала мне еще один текст из спецхранилища музея — однажды она задержалась по какой-то причине на работе — кажется, какие-то бабьи проблемы были у нее в семье. Пригласила выпить по рюмке бехеровки, которую кто-то из дружественных атеистов привез ей в подарок из Чехословакии. Расслабилась и растелешилась.

Я ей поведал историю происхождения ее фамильного прозвища — она, конечно, не знала о том, а мы с Агнешкой как раз уже несколько лет как купили под Ростовом

в деревне избу, куда моя благоверная выезжала на все лето с нашим немаленьким выводком на воздух, на овощи с грядки и парное деревенское молоко. Я иногда заходил в Ростовский архив и брал там «Исповедные росписи», исправно писанные два века из года в год клиром нашей церкви Покрова Божией Матери, которую разрушили в начале 50-х годов. Потому я уже немного понимал разницу между казенными крестьянами, которыми как раз и были потомки наших деревенских родов, и владельческими, т.е. крепостными, принадлежавшими помещикам и разным частным родовитым особам, вроде предков нашего комсомольского поэта-преподавателя из Литинститута Льва Ошанина, чья фамилия навсегда запечатлелась в топографии Ярославщины. Феерическая Веора так была мне признательна за это, что сказала весьма неожиданно:

— Хочешь, я тебя удивлю, Сероштан?

Я было напрягся в ожидании какого-то кульбита от женщины бальзаковского, так сказать, возраста вроде оголения одной из частей тела или еще чего-нибудь в таком духе, что мне вовсе было неинтересно, если не сказать больше, но Веоре Ивановне, как ни странно, действительно удалось меня удивить. Она оглянулась вокруг, на всякий пожарный, хотя за окнами уже вполне загустела таганская ночь, входные двери в музей по инструкции были закрыты, чугунные усадебные ворота схвачены цепью с замком по протоколу безопасности от шатающихся по Большой Коммунистической алкозависимых граждан, и в особняке, кроме нас, никого не было вовсе. Затем открыла сейф, вынула оттуда в папке с тесемочками пожелтевший листок и положила передо мной.

— Но давай заключим с тобой конкордат, Сероштан, — сказала она, — я улыбнулся на это: годы, проведенные госпожой Архиреевой на ответственном посту в музее, не прошли напрасно, и пусть она не подозревала о Екатерининской секуляризации земель в 1764 году, в результате которой ей осталось на память ее фамильное прозвище, но что такое «конкордат», она по должности знала. — Ты никогда никому не расскажешь о том, что увидишь.

Мне легко было, конечно же, пообещать и дать слово Веоре, и только теперь, когда с той поры прошло 20 лет, и Музей истории религии и атеизма давно исчез с культурной карты столицы, а Веора Ивановна растворилась в туманностях Андромеды или где там еще растворяются атеисты по должности, и многое тайное стало явным и оказалось совсем даже и незначительным, потому, думаю я, невеликим преступлением против памяти моей работодательницы будет вспомнить о содержании этого документа, имевшего непосредственное касательство к нашему учреждению на Таганке.

Вот что было на этом листе:

СИМВОЛ ВЕРЫ

1. Верую во единого Ленина — отца знаменитого творца дел видимых и невидимых.
2. И во единого Льва Троцкого едиnorodного, уже без аннексий и контрибуций рожденного прежде всех партий им же вся быша.
3. Не от тьмы, не от света подозрительная истинна рожденна, кем неизвестно, единосущная Ленину.
4. Нас ради пролетариата и нашего ради спасения без нашего ради разрешения пришедшего из Берлина и воплотившагося от Коллонтай-девы и вочеловечшагося.
5. И третьего-пятого июля при Керенском Пилате пострадаваши, но не погребенна.
6. И восшедшаго в Октябре по писанию газеты «ПРАВДА».
7. И восшедшаго в Смольный институт и сидяшаго одесную Ленина-отца, ожидая грядущаго России конца, со славой разрушая, его же хамству и мерзости не будет конца.
8. И в комиссара Луначарского животворящего и вкривь и вкось творящего, от одной банды с Лениным и Троцким сполоняема и славима, глаголющими в газете «ПРАВДА».
9. И во единую соборную Советскую власть.
10. Исповедую единый произвол для сохранения собственной шкуры.
11. Чаю воскресения кабаков и жизни вечнаго пьянства.
12. И всех благосостояний прошлого режима.

Аминь.

Венчала желтый листок сей выцветшая чернильная печать «Государственной общественно-политической библиотеки».

Закончив читать, я ошарашенно уставился на торжествующую Веору.

— А ты думал, что мы тут такие серые и тупые? Да мы тоже все за Ельцина горой!..

— Веора Ивановна, после такого сюрприза душа жаждет еще немного вашей бежеровки, — сказал я.

Мы еще и еще выпили, и я наконец-то задал ей вопрос о том, почему она не просто Веора, как следовало бы, а именно Веора. Я, конечно, подозревал, что она из соображений идеологической чистоты и безопасности на таком ответственном посту просто прибавила к своему простецкому и так любимому в Ростовских пределах имени одну

буквицу. Ведь согласись, что работать в таком месте, где во главу смыслов и обетований поставлено безбожие губельмановского разлива, с именем Вера как-то так не очень прилично: мы тут, блин, боремся с пережитками, а ты — Вера... Слишком уж прозрачный намек...

Ну, можно было бы сослаться на «веру в коммунизм» или что-то в таком духе...

Но все оказалось не так. Никакой буквы для облагораживания своего имени или для заматывания следов от неразумности и недальновидности родственников Веора Ивановна не прибавляла совсем, а наречена Веорой была прямо с рождения в Поречье-Рыбном, на берегу озера Неро, напротив Ростова, и дал ей имя это ее папа, сознательный член ВКП(б).

— Веора, чтобы ты знал, расшифровывается как Великая Октябрьская революция, — сообщила мне госпожа Архиреева.

— Веора Ивановна, вы просто сегодня решили убить напрочь этими делами! У меня нет слов для восхищения вами!

— Ты не смеешься надо мной, Сероштан?

— Напротив, я вам очень признателен. Я ведь ни о чем подобном не знал, ну а уж этот символ веры...

— О символе веры — крепко молчи. Мне еще до пенсии надо добыть несколько лет. Ну а раз пошла такая пьянка, так скажу тебе на прощание, что мое имя Веора — вполне благородное. А вот друг отца назвал своего сына Педерастом!.. Знаешь небось, кто это такие?

Тут ты потерял дар речи, наверное. Педро Корреа Васкес, где ты? В Панаме?..

— Но до середины 60-х годов мы в Поречье даже и не знали о том, что обозначает такое слово в больших городах типа Ленинграда и Москвы. Дядя Архип расшифровывал имя Педи, как мы его называли, так, как прочел в отрывном календаре за 1931 год; Педераст — Передовое дело радует Сталина... Так что по паспорту наш Педя числился Педерастом Архиповичем Лопуховым...

От чехословацкого напитка в результате не осталось ни капли...

Да, выпивать под такие разговоры я был готов каждый вечер. Но все-таки не бехеровку.

Но ты снова уклонился. Продолжи про «розового» Валеру.

Ну, «розовыми» были и есть до сих пор все мы. Как я уже говорил, в поисках некоей идеологической альтернативы многие из тогдашних подпольных, да и не подпольных людей тоже, приходили в традиционный русский храм, осколок прежней Руси, вроде бы чудесным образом сохранившийся. Но, конечно же, не будем забывать и высочайшее произволение товарища Сталина на это дело, которое и придало РПЦ красноватый оттенок. Сюда тянулись художники вроде Виталия Линицкого, — некоторые оставляли живописание как жанр, изучали и осваивали иконопись и затем писали иконы, воцерковленные скульпторы начинали ваять в своих мастерских поклонные кресты из мячковского известняка или барельефы с евангельскими сюжетами, как Вячеслав Клыков или Сергей Антонов, — супруга Сергея, великолепная Ирина Зарон, от религиозной метафизической, очень интересной живописи перешла к удивительной авторской иконной технике, прозрачно-палевой, невероятно утонченной и воздушной — они расписали и благоустроили несколько храмов по всей России. Но разве исчислить мне всех московских людей, пришедших в церковь в 80-90-е годы? Толпами с бульваров и со «стрита» приходили хиппи, и многие оставались в храмовом пространстве, преломляя судьбу. Пришли в храм молодые писатели вроде нас с моим однокурсником Володей Малягиным, — Володя Шикин, Гена Ситенко, Гоша Шевкунов, — некоторых ожидала яркая и значительная церковная карьера. О Володе Шикине я уже говорил. Говорил я и о когдатошнем хиппи Агасфере — Александре Дворкине. Некогда добросердечный и приветливый Гоша, а ныне Тихон Шевкунов, к сему времени стал одним из влиятельнейших иерархов РПЦ, ныне — митрополит Псковский, крупнейший церковный издатель, автор супербестселлера «Несвятые святые», вышедшего невероятным тиражом то ли два, то ли три миллиона экземпляров на многих языках мира. Многоопытный мой друг, писатель и уникальный знаток московской старины Петр Паламарчук еще в конце 80-х годов, прочитав на страницах еженедельника «Литературная Россия» очередную публикацию Гоши, сказал мне: «Вот бы и нам так с тобой писать, Сероштан!..» Для такого человека, как Петр, оставившего после себя несколько десятков первоклассных книг — документальных исследований и художественных романов, такая оценка юного Шевкунова была просто невероятна. Володя Малягин — 20 лет работает главным редактором издательства Московского Даниловского монастыря, вовсе не оставляя драматургии, и преподает молодежи в стенах нашей alma mater на Тверском, 25...

Один ты, Сероштан, так и застрял где-то в подвале... Но ты снова и снова отклоняешься от заявленной темы — что там о Валере и обо всем остальном народе, пришедшем от безысходности прошлой эпохи к церковным вратам? Что там с «розовым» православием вашим такое?

Все-таки мы были расхристанными детьми своего века, со всеми болезнями, присущими падшему человеку. Да, мы пришли в храм и нам показалось, что мы обрели утраченную истину, затоптанную и затертую прошлыми и нынешними губельманами, — отсветы свечных огоньков, тусклые ризы на древних иконах, великие имена русских иконописцев, мерный слог константинопольских литургий — я задавался вопросом: а какое отношение ко всему этому имею я сам? Почему меня, кобелякского выходца и чужака в этом великом имперском городе, анекдотичного местечкового дадаиста, наглотавшегося до колик Аполлинера с Бодлером, все это неотвратно притягивает, манит и обещает ответы на те вопросы, которые колом стоят передо мной многие годы? Да, храм на Неждановой, сбереженный царственными старухами Большого театра, открыт: заходи. Но ведь войти в храм, переступить церковный порог — это ведь вовсе не простое механическое действие вроде того, что поднялся по ступенькам, толкнул тяжелую дверь, вошел в притвор, затем в храмовое пространство... Ну, перекрестил лоб, купил свечку и поставил без рассуждения перед первой же иконой, послушал пение хора, в котором сам Иван Козловский поет гласом шестым, послушал проповедь либо настоятеля, либо самого архиепископа Питирима, — но разве за этим ты пришел сюда? Нет же, но за самым главным, чего не определить досужим словом, простым и выхолащенным сегодняшней бездумностью и безответственностью... Так за чем же? Можно подпустить тут патетики и сказать что-то вроде: припасть-де к истокам, или — встретиться с собой самим, только истинным, или — еще круче — встретиться с Самим Богом, а уж Он-то тебе если и не объяснит, то подаст некий внятный знак, и ты поймешь — для чего ты пришел в этот мир, для чего ты живешь и зачем... Потом только, на вторую или третью по счету Пасху начинал понимать, что следует не только приходить в храм на воскресную литургию, но и по мере сил и возможностей исполнять то малое, из чего в некотором смысле складывается церковная жизнь, — прежде всего посты, — ладно, не все, но Великий все-таки попробуй пропоститься, — чай, с голоду не помрешь. Но и это не все: оказывается, надо и жизнь свою изменять. Как? Опять-таки — в меру сил соблюдать заповеди Божии. По крайней мере, стараться их соблюдать, — и тут уже материализовывался некий принцип домино: каждая заповедь отрицала некое греховное состояние, и размышление над ними неожиданно открывало тебе глаза на то, что вся твоя жизнь состоит из сплошного и разноликого греха, — костяшки, прежде представлявшие для тебя некую ценность, сыпались друг за другом, не выдерживая даже не света от заповедей, а простого отблеска их...

И ты понимал...

Да, и тут я не то что понимал, а только начинал понимать, что все во мне и вокруг — неправильно и не так. И что мой приход в церковь Христову нужен вовсе не Богу, но мне самому, и не ради присовокупления к тому, что было утеряно нашими прадедами и дедами, допущено ими же по inferнальным причинам к осквернению и последующему уничтожению, и даже не в демонстративном — в пику коммунистическим идеалам — исповедовании альтернативной идеологии, но для медленного и неуклонного приближения к самой сердцевине человеческого бытия. Ну что я вот тут говорю — человеческого? Слово ничтожно, туманно, ограниченно скорлупой — вовсе не человеческого, и не душевного, и даже не духовного. Тут, в недрах церкви Христовой, хранится великая тайна этого мира — не только текущего времени, не только сегодняшнего человека с его никакими заботами и приземленными понятными чаяниями, но мира целокупного, вмещающего в себя и бесконечное прошлое, и длящееся настоящее, и призрачное будущее, каким бы оно ни сложилось. Присовокупи сюда и иные миры, куда после краткого пребывания на земле перемещается бессмертная душа, оставившая хранилище своего тела. И всего-то надобно человеку, пришедшему в храм, не просто поглазеть на иконы и послушать Ивана Козловского с архиепископом Питиримом, — не просто поститься в положенный срок, утром и вечером уделять какое-то время чтению молитв из бурдюковского подпольного молитвослова, не просто готовиться внутренне к принятию святого причастия, в котором невероятным и таинственным образом вино и предложенный хлеб пресуществляются наитием Духа Святого в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа, но хотя бы попытаться соблюдать эти вот самые заповеди Христовы, без которых нет церкви, нет человека и нет будущего.

Да, все просто, — просто, — да не совсем...

Вот же что я подразумеваю под нашей «розовостью», моей и Валеры, да и многих

наших новообращенных православных. Да, мы вошли в притвор храма, — но, по сути, остались прежними. Как тут не помянуть Фридриха Ницше?

«Не ваш грех — ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших грехов вопиет к небу!»

Мы по-прежнему блудодействуем, изменяем женам, мужьям, предаем за полушку, крадем, убиваем, лжесвидетельствуем, осуждаем всех и вся, кроме себя самих, обманываем в богатейшем спектре — от проезда бесплатно в трамвае до должностных подлогов, сулящих нам хорошие барыши, — то есть мы остались ветхозаветными, прежними, и даже не понимаем, о чем, собственно, идет речь.

Как тут для ясности еще раз не помянуть нашего Хитрого дурака, нарочито постящегося и на каждом углу разглагольствующего о православии и против евреев, а по жизни мошенника, паскудника, просто вора, обманщика, выставляющего на деньги от временных работников своих до экономов московских монастырей, устроителя православной гимназии, послужившей опять-таки крышей для поборов и добровольных пожертвований на дело якобы православного просвещения, — он очень жалел, что не удается под сурдинку приватизировать в собственность здание школы на Большой Ордынке, куда на постой пустили эту самодеятельную гимназию во главе с его женой Таней, которая вовсе не имела педагогического образования даже, но всеми делами там заправляла. И все ведь — под вопли о том, что он светоч церкви, что он спасает Россию... Для таких вот людей православие было просто спасением, — но не души: от тюрьмы или от внесудебной расправы с пусканием крови, как это весьма практиковалось в 90-е годы.

Да и мы хороши: Валера, да и я тоже, конечно, будучи по виду и по нашему внутреннему убеждению православными, без всяческих колебаний работали в цитадели безбожия и атеизма, получали свои 30 сребреников из бюджета то ли Министерства культуры, то ли идеологического аппарата ЦК, то ли от этого Комитета по борьбе с церковью, возглавляемого поочередно генералами КГБ Куроедовым, Харчевым и Христарядновым. Когда приходила пора Великого поста, мы скрывали свои постные подвиги от товарищей Архиреевой и Нипонского, старались не звенеть веригами и не шуршать власняницами на наших изможденных телах. Мы с весьма чистой совестью сидели в стенах Зубовского особняка, пропитанного прогорклой ненавистью и застарелым богоборчеством, — сидели как ни в чем не бывало, украдкой крестя бутерброды с килькой и молясь про себя. Ну да это ведь сущая ерунда, по сути своей. Беда заключалась в том, что мы оставались все теми же, прежними, и вовсе не стремились как-то преобразиться, измениться, исправить врожденные наши кривизны, сутулость и подлость. Да, может быть, мы с Валерой не были похожи на Хитрого дурака с присущим ему оголтелым воровством, но и своего дерьма в душах у нас было достаточно.

«Не праведных пришел спасти, но грешных», — вот еще одна отговорка для нас, еще одно оправдание...

Вот еще вспомнил такую знаменательную картинку, связанную с Хитрым дураком. Мы однажды ехали с ним в купейном вагоне из Москвы в Гомель, и соседствовали с нами парень и девушка. Мы совместно с ними распили бутылочку. Хитрый дурак начал обличать их неверие и настойчиво зазывать в церковь спасаться — проповедь затянулась до ночи, а когда легли почивать — я с парнем на верхних полках, а Дурак с девушкой на нижних, и едва я уснул, как тут же и проснулся от визга белорусской дивчины: Дурак со своего места длинной и неотступной рукой стремился влезть к ней за пазуху к заветному женскому. Девушка возмущалась, кричала, требовала прекратить домогательства, но мой одноклассник тупо и методично все лез и лез к ней. Я начал его урезонивать с верхотуры и требовать, чтобы оставил ее в покое, на что мне было заявлено, чтобы я не лез не в свое дело. В конце концов девушка выскочила в коридор и потребовала у проводника переселить ее в другое купе, что тот и сделал.

— Ну и чего стоила твоя вечерняя проповедь, С.? — сказал я утром ему.

Он ответил что-то в том духе, что вот ты, Сероштан, мол, любишь пить пиво, а он-де любит тискать случайных девах. И вообще — это не мое дело. Только Таньке, смотри, не скажи...

Или вот еще такая история. Был у меня хороший приятель, не буду называть его имени, — он уже, к сожалению, преждевременно оставил наш мир. История Русской церкви, история разных толков и ересей занимала все время жизни его, и он, можно сказать, специализировался на этом. Он рассказывал мне о Каноне преподобного Андрея Критского, который читают в начале Великого поста, рассказывал с жаром о том, сколь поэтически и метафизически совершенен этот древний текст. Он вообще был редкостным знатоком церковного обихода. И вот на свое первое чтение Канона преподобного Андрея, куда я по тогдашнему незнанию даже и не собирался идти, он

меня и повлек чуть ли не силой. Только откуда и как? Из Пестрого зала ЦДЛ, где мы уже потребили с ним множество стаканов сухого вина, но и во хмелю душа-христианка его требовала идти на Канон. Что мы и сделали, нетвердой походкой выйдя из ЦДЛа и отправившись куда-то в сторону Малой Грузинской. Посреди чтения в храме, будучи в коленопреклоненном состоянии, мой приятель... просто уснул, но устоял-таки на коленях, не завалился на бок, как ожидалось. Таков был мой первый великопостный Канон — в нетрезвости и общем таком отупении от винного излишества. Ну а друг мой, помимо многообразных знаний и великих талантов, был весьма падок и на друзей противоположного пола, которые ему весьма отвечали взаимностью, но при этом всем — поборником чистоты Православия, и, я уверен, если бы потребовалось отдать жизнь за догматы церкви, мой друг не колеблясь сделал бы это. Как тут еще раз не помянуть Ницше, который примерно о том же и говорил: «С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу».

Отвечу тебе тоже из «Так говорил Заратустра», раз на то уж пошло: «Нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Та-кая вот диалектика — на разрыв... И что тут поделать?.. Твой друг, да не только один он, но почти все, да и тот же Ницше в конце концов, ушедшие безвременно и до обидного рано, несли в себе этот хаос в подспудной и, скорее всего, бессознательной даже надежде родить эту «танцующую звезду»... Но кому-то это все-таки удалось. Правда, дорогою ценой...

Но я рассказываю все это вовсе не для того, чтобы осудить моего дорогого, рано умершего, товарища, которому я столь многим обязан, — нет же, но просто чтобы обозначить на реальном примере то, что я подразумеваю под «розовым православием».

Вот такими мы были, есть и, вероятно, пребудем до смерти. Негодными ни на что...

Конечно, Господь целует намерения, как говорится. Конечно, Господь милосерден, и нет человека, кто бы не согрешил, как нет человека, кто бы оправдался перед Ним. Но что-то же должно делать и нам? Или уподобимся в воцерковлении Хитрому дураку? Или как там в Псалтири сказано: «устаи своими благословляли, а сердцем своим проклинали». То есть устами будем молиться, а жить будем по-старому.

Это весьма удобно...

Ну, тут еще и двоедушные некоторых нынешних пастырей прилагается по рассуждению века сего: упал — встань, не согрешишь — не покаешься... То есть, говоря другими словами, чтобы покаяться — надо непременно грешить, а если ты не гресишь, так и не каешься, да и обзовем тебя еще по этому случаю фарисеем... Тут к любому греху развязываются руки и устраняются любые препятствия, даже те малые, моральные, внушенные нам еще родителями, — все упраздняется: делай что хочешь... Но тут встает другой сакраментальный вопрос: что есть покаяние? Какая мера его? И кто о покаянии грешнику расскажет и объяснит?.. Ответа, как водится, нет. То, что произносишь на исповеди — перечисление твоих обычных и необычных грехов — это ли покаяние?.. Тут ответ как раз есть: нет, это не покаяние. А что же тогда — покаяние? Или еще вот эта замечательная *икономия*, применяемая тоже по видимости для церковного блага: чтобы не отвратить от храма пришедшего, прощаются и отпускаются священником без разбора любые грехи, вплоть до убийства...

Один подобный лжепастырь на этом сделал неплохой бизнес: он якобы отмаливает кровавые грехи бандюганов, крупных мздоимцев-чиновников, бизнесменов первого ряда... Живите как хотите, ни в чем себе не отказывайте, только о батюшке, вашем молитвеннике-воздыхателе, не забывайте... Ну, и там все нормально вполне.

Ну, меня снова занесло не туда — это ведь все уже о среднем пути, когда начинало кое-что проясняться и когда спали с вежд розовые очки неопита, — не все выдерживают такое протрезвление, и кто-то из Церкви уходит — из-за таких вот бизнесменов в рясах и людей, подобных Хитрому дураку, а я ведь вел разговор практически о самом начале вхождения в церковь, хотя как тут определить одним словом это начало? Конечно, у каждого свой путь и свое предназначение, и хиппи от «Аромата» не выстроились в маршевую колонну за Дворковым-Агасфером и не явились с покаянием к Питириму, а уж тем более не постриглись в монахи, подобно Юре-Террористу Рыбко.

Начала — размыты вполне. Приходил в храм, глазел, слушал, мало что понимал. Ходил в пасхальных крестных ходах вокруг храма на Неждановой. Впервые исповедовался молодому священнику о. Михаилу Дронову. Потом церковные знакомцы смеялись: да Дронов в жизни к аналою не выходил исповедовать!..

Но вот тебе повезло...

А воцерковление, скажем так, настоящее как раз и происходило в бастиие безбожия и атеизма в Зубовском особняке на Таганке — в чтении святоотеческой

литературы в библиотеке учреждения по ночам, в разглядывании артефактов, разложенных в демонстрационных витринах, этих плакатов с призывами разрушить и уничтожить вековые святыни и духовенство как класс, этих страшненьких фотографий, где с песнями и с велией радостью крестьяне складывают костры из домашних икон, а пролетарии с окурками в цинготных зубах кувалдами разбивают малиновые колокола — все тут свидетельствовало, кричало и утверждало со всей непреложностью, что темного прошлого не вернуть...

Но ведь действительно — ничего не вернуть...

Конечно, ничего не вернуть. Что ты можешь противопоставить этому черному девятому валу сатанинской ненависти, невесть откуда возникшему в благостной и молитвенной Российской империи, будто ковром покрытой маковками церквей, лавр и монастырей? Только-только, после полуторавекового перерыва, царь-батюшка повелел высочайше канонизировать новых святых — преподобного Серафима Саровского, святителей Иоасафа Белгородского, Иннокентия Иркутского, — какой всенародный соборный молитвенный порыв! — и всего через несколько лет — жечь, крушить, убивать, распинать священников и епископов, прибавлять гвоздями погоны к плечам, сдирать кожу с живых... И все — ради блага, ради будущего счастья всего человечества, наши дети будут жить при коммунизме, ну а пока мы исполним директиву вождя: истребим казачество (и купечество, и дворянство, и интеллигенцию, а потом заодно и крестьянство) как класс — до единого человека...

«Что нынче невеселый, товарищ поп?» — так и Александр Блок приложил сюда свою предсмертную лепту.

Впереди — Иисус Христос...

Известно, кто в этом погроме был впереди. И вот я слонялся по этим коридорам Zubовского особняка, спасаясь разве что в искусствоведческих разговорах с моим другом Валерой, но ни дармовые чай с растворимым индийским кофе из запасов научных атеистов, ни вермут вперемежку с водкой из винного магазина на Большой Коммунистической улице, ни песни Crosby, Stills & Nash, наигрываемые на гитаре Юрой Калининым, вовсе не развлекали меня, но крепла и прижимала к оскверненной земле некая тоска, некая фантомная боль, когда я снова и снова видел в витрине старую фотографию застывшего в изумлении храма, когда взрыв уже прогремел секунду назад, и еще через секунду все это рассыплется в прах, перестанет существовать — эти древние закомары, этот платиновый мелкий лемех на главках — каменный символ языческого жертвенно-символического костра, в котором зашедший помолиться человек сгорал, преображался в священном огне, становился другим, — через мгновение сочленения неведомой силой разомкнутся, балки с треском выломатся из пазов, разлетятся во все стороны древнерусские кирпичи, «паруса» с веселыми фресками на мгновение надуются ветром нового времени в устремлении к небесным обителям, где им и место, и все это грянет на землю, не в силах преодолеть ньютоновского закона тяготения, преодолеть новой революционной реальности, преодолеть воли человека, выбравшего снова чечевичную похлебку, как древний Исаа, взамен первородства и усыновления Богом...

В конце концов — все это камни... Камни можно собрать и заново сложить во что-то подобное, пусть кривое и заваливающееся на один бок, не столь совершенное, что доступно было искусством и мастерством людям, прежде жившим на этой земле...

Да, камни... Хотя их и жаль, но еще больше жаль человека, людей, наш народ — ибо расчеловечивание и было главной целью произошедшей с Российской империей катастрофы. Да, камни можно собрать воедино, можно восстановить Храм Христа Спасителя и что-то еще, но как восстановить души людей? Таким вот клоунским «покаянием»? Постами с вкушением ракообразных и черной икры, перемежаемой красной?

Вот об этом мы и разговаривали с Валерой — все толкли воду в ступе, но сами при этом и пальцем не пошевелили, чтобы хотя бы нам измениться, очиститься от скверны советчины, от нашей собственной скверны, — да что тут говорить?.. Так Валера застрял в реконструкциях дохристианских верований славянских племен — на основании пристального анализа узорочья в национальных нарядах, на прялках, на жертвенных камнях, и, как мне кажется, не без оснований утверждал, что славяне в темных и непроглядных веках исповедовали отнюдь не многобожие, как принято было считать прежде, а веровали во Единого Бога, — но я тут все-таки замолчу и уклонюсь от развернутых Валериных тезисов, потому что речь все-таки идет не о том, а об уловках, о ложных целях как Валеры, так и моих собственных, которыми мы спасались от этих опасных, гибельных вопросов, ведущих туда, откуда уже не было возвращения, — но был ли там выход? Вот еще один из вопросов.

Нельзя сказать, что этот мой путь завершился — даже после того, как я логически переосмыслил этот примечательный лозунг безбожников 1920-х годов. Я ведь мало-россиянин из славного городка Кобеляки, срединного места Полтавщины, из самого сердца Украины-Руси, с присущими нашему племени особенностями, с врожденной недоверчивостью к любым переменам и всяческим постулатам. Я как-то, уже в тысячный, должно быть, раз совершенно тупо и вяло прочел красноречивый лозунг про безбожие и коммунизм, с которым когда-то ходили в своих крестных ходах одуроченные люди, и тут мне внезапно открылась обратная сторона этого постулата: раз коммунизм так и не осуществился — о причинах этой неудачи я распространяться не стану, то не пора ли просто вернуться назад?

Прежде к безбожию, которое никуда исповедников своих не привело, а потом — и к самой вере?..

Глава 21. ЕДИНОЕ НА ПОТРЕБУ

Небольшой зал в клубе «Дом» на Новокузнецкой опустел. В полутьме чернели скелетами стулья. Так закончился первый день 18-го по счету фестиваля композитора Владимира Мартынова, когда все мы, собравшиеся в «Доме», снова и снова становились свидетелями чуда рождения и краткого существования в физическом мире удивительной музыки самого радикального русского композитора. 18-й фестиваль... Море людей, многие весь концерт простояли у стен, потому что мест на всех не хватило. Владимиру Ивановичу в этом сакральном действе помогала его супруга, Татьяна Гринденко, со своим струнным квинтетом «OpusPosth», — изысканная психоделическая музыка созидалась прямо у нас на глазах, рождалась в душе, и становилось неважным то, что осталось за стенами этого крохотного замоскворецкого ковчега, наполненного удивительными и осмысленными, умными лицами, собранными воедино этой замечательной музыкой. Конечно, меня так и подмывает как-то обозначить ее, прояснить, рассказать что-то о ней, — но разве можно рассказать о музыке внятное?..

Ну да, как тут не вспомнить высказывание Фрэнка Заппы: «Говорить о музыке — все равно что танцевать об архитектуре». Поэтому лучше бы тебе замолчать.

Перед концертом я подошел к Владимиру Ивановичу, поприветствовал его и попросил подписать книжку «2013», которую я взахлеб прочел уже от корки до корки, испещряя пометками, и он неожиданно предложил мне остаться после концерта и поговорить.

— Мы давно не виделись с тобой, Сероштан, — так сказал он.

Да, так и было оно.

Уже предстали перед Божьим судом и митрополит Питирим, и настоятель храма на Брюсовом о. Борис, и о. Геннадий Огрызков, клирик Воскресенского храма, а затем настоятель храма Малого вознесения, — напроочь изменилась эпоха, и изменились мы сами, — да, нам было, вероятно, о чем поговорить с Владимиром Ивановичем.

В давнюю пору Литинститута я ездил с Милой Космачевской и Юрой Калининым на полуподпольные его выступления в далеких клубах в новых московских районах, а потом мы, счастливы, внимали эпическим звуковым фрескам в электронной студии на Новом Арбате, но познакомились мы только в стенах храма Воскресения славущего на Неждановой, где он жил в наследственной отцовской квартире в знаменитом огаревском композиторском доме, обвешанном со всех сторон памятными мраморными досками, главной из которых была, само собой разумеется, мемориальная доска Дмитрия Шостаковича. Не скажу, что мы с ним тесно общались — все-таки весовые категории у нас были весьма и весьма разные, таковыми они остаются и по сию пору, но здоровались приветливо, о чем-то таком рассуждали. Он был композитором-экспериментатором, а я в ту пору недалекоим умишком своим пытался вникнуть в лабиринты немецкого краут-рока — группы Can, Amon Düül II и Faust весьма интересовали меня. Мейнстрим монстров рока вроде Deep Purple, Doors и Led Zeppelin был уже далеко позади, но это, конечно, не означает, что я перестал их любить, просто местечковое меломанство мое властно требовало движения дальше, в глубины того, что называется музыкой.

Как водится, кое-что интересное можно было обнаружить на стыках рока и джаза, как Mahavishnu Orchestra и Soft Machine, рока и даже оголтелой эстрады с химерным гротескным уклоном, как Bonzo Dog Duda Band (тут в названии как раз обыгрывался мой юношеский дадаизм), или в пограничье арт-рока и симфонизма, вроде великой группы Van Der Graaf Generator или же двух первых альбомов Emerson, Lake & Palmer 1970 и 1971 годов. Об этом мы и рассуждали с Владимиром Ивановичем после того, как величественный архиепископ Питирим завершал воскресную литургию изысканной богословской проповедью, и мы, если Мартынова не ожидала к сроку домой строгая

красавица и великолепная скрипачка Татьяна Гринденко, отправлялись в знаменитое кафе неподалеку от Консерватории, где за кружкой пива рассуждали обо всем этом. Конечно, мой старший товарищ лет на 5-7 раньше тоже отдал дань и арт-року, и краут-року, и джаз-року, и находился уже в эзотерической орбите таких композиторов авангарда 20-го века, как Ноно, Бартока и Джона Кейджа, и мне, само собой разумеется, оставалось только благодарно внимать его скупым, глубоким и точным рассуждениям, — да и что тут еще говорить: Мартынов был, есть и пребудет одним из светочей позднего советского авангардного композиторства, в одном ряду с Арво Пяртом, Софьей Губайдуллиной и Эдисоном Денисовым (про Альфреда Шнитке я здесь умолчу — там были свои терки и обоснованные претензии Владимира Ивановича к тоталитаризму шнитковского разлива, — впрочем, тоталитаризмом всегда, как правило, оборачивается либерализм), а кто таков я? Просто дилетант и любитель. Спасибо еще Третьей программе польского радио за то, что отчасти просветила меня в свое время, пока ее не прикрыли, ввиду военного положения в Польше.

Вскоре Владимир Иванович, подобно Виталию Линицкому, круто преломил свою жизнь: забросил сочинение музыки, оставил исполнительство, покинул даже Москву и уехал в тогдашний Загорск, угнездившись в обители преподобного Сергия Радонежского, где обучал семинаристов и певчих древнерусскому церковному пению, реконструировал крюки и нотацию древних забытых распевов и написал несколько книг с результатами своих изысканий: «История богослужебного пения», «Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси», «Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе», ну и, конечно же, не обойти здесь поминая и знаменитую его книгу, наделавшую много шума в интеллектуальной Москве, «Конец времени композиторов».

Виталий Линицкий и Владимир Мартынов — в этом уже прослеживается некая странная закономерность...

Может быть, во всех этих делах можно заметить некую самостийную и судорожную попытку истинного служения, как оно понималось этими невероятно одаренными, отмеченными Богом людьми, но душевный запал рано или поздно иссякал — по разным причинам, о которых не место здесь говорить, ибо реальная церковная жизнь зачастую оказывалась весьма прозаичной и не такой, как мыслилась из далека воскресных и праздничных Питиримовских литургий, — об этом свидетельствует возвращение в начале 1990-х годов Владимира Ивановича в Москву и в музыкальную жизнь. Но Господь целует намерения и восполняет с излишком доверчивую душу человека, обращающегося к Нему, — и в стенах Сергиевой лавры он много чего понял и переосмыслил, а написание музыковедческих исследований открыло для него новые возможности, — может быть, даже и неожиданно: он не просто оказался ярким и самобытным мыслителем и писателем, но редкостным, по сути своей, культуртрегером, а ведь мы уже успели и позабыть о том, что это из себя представляет. Об этом свидетельствуют уже десятки написанных им с той поры книг, одну из которых — «2013» — я и попросил его подписать перед концертом в «Доме».

Мы уже допивали свой односолодовый The Benriach, душистый и сладковатый от хересной бочки, в которой шотландцы его выдерживали 15 лет, Владимир Иванович говорил о чем-то совершенно для меня неожиданным, выстраданном, Татьяна Гринденко вовсе не вмешивалась в разговор, только постреливала время от времени строгим голубым глазиком в нашу сторону. Ее музыканты уже разошлись по домам. Завтра вечером, и послезавтра, и после-послезавтра они должны были исполнять новые опусы Владимира Ивановича, где предусматривались уже и видеоинсталляции с использованием диковинных музыкальных инструментов, поэтому, вероятно, Татьяне Тихоновне не совсем нравилась наша затянувшаяся посиделка, да и я готов был уже с сожалением попрощаться с Владимиром Ивановичем и двигать домой, когда вдруг Мартынов произнес нечто совсем неожиданное о некоем своем просветлении на берегу Эгейского моря в виду туманной горы Олимп, где тысячелетия назад обитали древние боги колыбели всего человечества:

— И вдруг я подумал, дорогой Сероштан, что, может быть, это самое лучшее, что может быть. Я вспомнил о том, с какой жадностью в свое время ловил известия о том, что новенького написали Штокхаузен, Стив Райх или Пярт, как ждал нового фильма Гринуэя или нового спектакля Пины Бауш, а вот сейчас все это показалось мне таким смешным и таким ненужным. Мне показалось смешным и ненужным все, что мог предложить мне мир, и еще более несостоятельными мне показались надежды на то, что я могу предложить что-то этому миру...

Что ты мог сделать после этого, Сероштан? Это ведь, по сути своей, приговор мировой культуре, сказанный не каким-то замухрышкой Галантером в 9/11, «гением» из Кишинева и растворившимся без остатка в соляной кислоте столице империи...

Да, я допил свой The Benriach, поцеловал руку Татьяне Тихоновне и попрощался с Владимиром Ивановичем. Он не спросил меня, приду ли я завтра на очередной концерт фестиваля, будто бы знал, что я не приду.

Что я мог ответить этому великому человеку?..

И потом — все неожиданно завершилось. Ну, «неожиданно» — тут я, конечно же, перебираю с определением. Ведь еще в 1982-м году, в самом начале его, я уже почувствовал и назвал то время «концом прекрасной эпохи», — и только через 9 или 10 месяцев, будто специально подтверждая мое метафизическое прозрение, умер Леонид Брежнев, а с ним и — реально — эпоха, в которой мы родились, росли, возрастали, учились, любили, страдали. Но, как оказалось, это еще вовсе не было концом никаким, да и сегодня ведь не сказать, что это конец: ведь жизнь продолжается, нарастают на том, что осталось от советского монстра-Союза, новые и новые поколения людей, для которых ни о чем не говорит ни имя Мартынова и Гринденко, ни Soft Machine, ни Гайто Газданова, и даже, страшно сказать, Солженицына, ни даже, если на то уж пошло, наименование спейс-сайдовского виски The Benriach, — и что это значит?

А то, что все ваши святыни, оказавшиеся иллюзиями, замещены другими иллюзиями и другими кумирами: главный писатель — некто Акунин вперемежку с нацболом-лимоновцем Прилепиным, главный композитор — Игорь Крутой, главная поп-группа, покорившая даже Запад, куда никогда и никто из наших «звезд» самозванных пробиться не смог, — «Тату», а главная песня века сего, сменившая Imagine Джона Леннона в сердцах людей, — «Нас не догонят», главный же церковный пропагандист, вещающий по телевизору и со страниц православной прессы о спасении души и о том, как надо палкой учить жен и детей, — беглец из майданного Киева, без устали скандализирующий вялотекущую московскую церковную жизнь...

Да что тут говорить, конечно, — вспомни еще о зеленой траве и о пломбире за 20 копеек. Но я не о том ведь толкую.

Тут вот что произошло — и все-таки для меня нежданно-негаданно. Тут мне придется прибегнуть к развернутой метафоре, чтобы было понятнее.

Несколько раз мне довелось в новых уже временах побывать на Афоне: ощущения сложные и удивительные. Но я все же о людях: за 10 дней путешествия по дорогам, скитам и знаменитым монастырям я повстречался с довольно большим количеством разных паломников из России, со многими имел весьма доверительные беседы — Святая Гора и некая изолированность места весьма располагают к тому. Это примерно как ехать в одном купе с незнакомцами — пока едешь, чего только тебе не расскажут и чего только сам ты не откроешь случайному попутчику, — но нет никаких обязательств, и это известно, это и генерирует предельную открытость людей: человек доезжает до пункта своего назначения, прощается и уходит.

Навсегда.

Больше ты никогда не встретишь его в своей жизни. Примерно так на Афоне, среди русских и украинских паломников — такое большое купе, перетекающее по горам и ложбинам Горы, перетекающее из монастыря в монастырь, эти бесконечные и захватывающие вечерние разговоры о главном, совместные восхождения на вершину, преодоление лесных дорог и горных хребтов, — но в первое мое посещение Горы я не подозревал о том, что это тоже такое своеобразное купе, и радовался этой вот общности, даже соборности того, что происходит со всеми нами. На протяжении этих кратких и замечательных дней то там, то здесь попадались «старые» знакомцы, с которыми уже ночевал где-нибудь в Пантократоре или же в Ивероне, — мы радостно приветствовали друг друга, обменивались новостями и снова прощались. В Кариесе, столице Горы, откуда отправляются автобусы в порт Дафни, половина русских людей в той или иной степени были через 10 дней знакомы тебе. В кафешке у бессменного грузного Яниса, сына греческих коммунистов, без которого просто немислим Афон, мы брали домашнего вина и выпивали чуть ли не на брудершафт за новую нежданную дружбу, за это вот чудо встретиться здесь, у афонских святынь. Мы обменивались телефонами и адресами, приглашали друг друга в гости, пока шли на пароме «Агия Анна» обратно в Уранополис... И в самолете, взлетающем из аэропорта Фессалоник «Македония», ты знал в лицо почти всех...

И что же?..

А в Москве призрачное это зеркало разбивалось на мелкие осколки. Лица людей каменели и отчуждались. В зале прилета те, на чью помощь ты рассчитывал — ну, добраться до города на автомобиле, допустим — отворачивались и прятали глаза. Кто-то проскакивал по «зеленому коридору» и, не прощаясь, скрывался в толпе. А ведь только что ты поил этого человека на борту самолета из своих запасов греческим «узо»... Кто-то прямо отказывал тебе в самой малости. Да я и сам отказал одному русскому монаху из Кутулмуша, с которым мы провели в разговорах несколько часов до посадки, — он жил

в русском скиту уже около 10 лет, поведал много всего примечательного, — хороший парень такой... По прилете в Домодедово его не встретил никто, и он растерялся в толпе. Попросил у меня, спешащего на маршрутку, телефон позвонить. Но я отмахнулся... Но не из вредности, впрочем, — просто на телефоне моем вовсе не было денег, и я сам с борта самолета звонил Агнешке с телефона соседствовавшего со мной священника, чтобы кто-нибудь из сыновей встретил меня на Казанском вокзале и помог тащить к дому масло, оливки и орехи, купленные на рынке возле площади Аристотеля в Фессалониках... Может быть, сделал я это впопыхах, и надо было объяснить монаху причину отказа, может быть, надо было взять его за руку и привести к маршрутке или к авиаэкспрессу, — может быть... Но и я стал уже другим здесь, в Москве, я спешил, я боялся куда-то там опоздать... Но при этом я сам с сожалением наблюдал, как разбивается наша паломническая цельность — наше зеркало, в котором, возможно, пока мы пребывали на Святой горе, отражалось то лучшее в нас, что и влекло нас сюда, к тысячелетним византийским святыням. Телефоны, записанные второпях на клочках бумаги, так никогда и не были набраны мною. Да и мне тоже никто так и не позвонил. Все, что произошло с нами, произошло в другом мире, — но не в этом. Здесь же — все по-другому, и мы тоже другие. Дважды повстречались случайно мои спутники — монах из Троице-Сергиевской лавры и мальчонка из Беляева, «культурный паломник», как он себя называл. Первый что-то буркнул — он стоял у раки с мощами преподобного Сергия, и ему, по всей видимости, не с руки было вовсе со мной разговаривать, второй — просто прошел мимо меня на православной выставке-ярмарке, хотя я его и окликнул по имени, отстраненно взглянув. Теперь, бывая на Афоне, я уже знаю эту особичку, и ни сам ничьих телефонов не прошу, ни свой никому не даю.

Вот о чем я толкую, говоря о том, что все мое неожиданно завершилось. А началось все — впрочем, и не заканчивалось, если разобраться дотошно, — с того, что любимые люди, без которых прежде не мыслилась жизнь, начали исчезать — думалось, что на время, но нет, этот путь был в одну сторону.

1990-е годы были исполнены горьких потерь: вернувшийся после отсидки в зоне на родине Канта Аркаша Суслов, мой учитель экзистенциального бытия и пример нестигаемости в столице тоталитарной империи, в Москве себя уже не нашел: до приговора суда он тоже не успел доработать в Краснопресненском ПЖРО всего-то полгода до положенных 10 лет, после чего служебная площадь переводилась в жилую, — по этой причине и ввиду отбытия уголовного наказания, его лишили служебной комнаты в громадной коммуналке на улице Герцена, столь памятной всем нам событиям, которые там происходили, и выписали прочь из Москвы, поэтому возвращаться Аркаше пришлось в родной город Челябинск, но если здесь, в Москве, через два года круто все поменялось, то что говорить о Челябинске, откуда он уехал еще 1970-м году, когда поступил на журфак МГУ?.. Целый год он прозябал там в сторожах на каком-то умирающем предприятии, — но челябинские сторожа в корне отличались от московских собратьев, и, кроме алкогольных возлияний, там, кажется, не было никаких других увлечений. Аркаша попытался войти в одну реку дважды и вернулся в Москву. Но здесь еще больше все изменилось — уже начались 90-е годы со всеобщим развалом, с галопирующей инфляцией, со спорадическими танками на Садовом кольце и боевыми действиями за лакомые куски московской недвижимости. Кому уже было дело до «жить не по лжи» и «не сотрудничать со властью предрержащими»? Вместе с тихим алкоголиком Женечкой, который по статье о шизофрении и по одной из последних советской социальной отрыжке ухитрился получить квартиру на Мосфильмовской улице, Аркаша одно время торговал порнографическими изданиями типа «Еще!» и «Спид-инфо» возле Большого театра. Однажды я, выйдя из метро Театральная, увидел его и подошел поздороваться. Аркаша отвел глаза в сторону, буркнул что-то невразумительное. Жестокая действительность следствия, суда и зоны практически ничего не оставила от прежнего Аркаши, поклонника Сёрена Кьеркегора и Мартина Хайдеггера, — он был сломлен, повержен. Но чем лично я мог помочь своему другу? Моя Агнешка была беременна пятым ребенком, мы ютились в дворницкой коммуналке с многодетным татарским семейством на Трубной, меня самого Сирождидин, новый ДЭЗовский хан, выдавливал даже из наших жалких убогих трущоб — материалы на выселение нашей семьи на улицу уже лежали в Дзержинском районном суде, — чем мог я помочь своему погибающему другу?.. Помнится, единственное, что я смог сделать тогда, у Большого театра, — в виде своеобразной помощи, как это ни странно звучит, — это только обругать Аркадия за то, что он распространяет эти мерзкие порнографические газетенки:

— Вот это и есть твой экзистенциализм, Аркадий?!..

Ну, и добавь ко всему этому то, во что превратились наши давние посиделки-пирушки со спорами, в частности, о том, кто лучше — Джон Леннон или же Пол Маккартни, — сухое вино нашей молодости из Плятовской «кишки» напротив

Кинотеатра повторного фильма сменилось забубенным кромешным пьянством вместе с пожизненным его соседом прежде по Герцена, а затем и по Мосфильмовской, Женечкой. Через год дармовую квартиру Женечка заложил черным риэлторам, деньги они с Аркадием пропили, а затем Женечка умер внезапно, обобрав перед тем кучу народа, вовлекая посулами прибылей в очередную финансовую пирамиду. Аркаша же оказался Бог знает где, — то ли в подвале, то ли на трубах теплоэлектроцентрали с бомжами, — и долго ли могла продолжаться подобная жизнь? Кажется, в последний путь его провожал всего один человек — Таня Кичигина, однокурсница его по журфаку, всю жизнь любившая его безответно.

Такие вот обетования и авансы дает жизнь и Господь человеку — но и свободу, конечно же, распорядиться этими авансами. Горько, что зачастую так все и заканчивается. Ведь куда как легче падать вниз, чем трудиться в достижении — даже не неба, нет же, — но хоть какой-то присущей, доступной тебе высоты.

И с чем вот сравнить, — разве что с тем, как сомкнутым строем в атаку на недруга движется строй бойцов? Встречный огонь выхватывает то одного, то другого, то третьего — они, сраженные, кулями валятся на землю, но строй смыкается и продолжает движение. Куда? Зачем? Почему? Наверное, это даже неважно. Даже неважно, кто этот недруг. Это такая вот жизнь, вот и все.

Петр Паламарчук. Владимир Карпец. Анатолий Кудинов. Михаил Дидусенко. Сережа Васильев. Александр Вишневой. Владимир Тереладзе. Игорь Белоус. Владимир Шикин. Владимир Пономарев. Михаил Шадрин. Марина Хлебникова. Снежана Соколова. Игорь Жеглов. Юрий Доброскокин. Сергей Бурда. Аркадий Суслов. Олег Давыдов. Виктор Савченко. Игорь Виноградский. Геннадий Русский. Андрей Дмитриев. Саша Сопровский. Егор Радов. Мишка Росляков. Зойка и Серж...

В этом твоём мартирологе — только поэты, прозаики и мыслители.

Да, такая уж специфика у меня. Кто-то успел сделать многое, кто-то — не очень, а кто-то и совсем ничего не оставил после себя. Но даже то, что от них ничего не осталось вещественного, письменного, не отменяет их значения для многих и многих людей. Так, к примеру, «московский Сократ» Андрей Дмитриев не оставил ни строчки после себя, но его влияние на устроения сотен, если не тысяч, московских людей, составивших в свое время так называемое «поколение шестидесятников», невозможно переоценить. Он во многом предрек и новое воцерковление России в 70-80-х годах, сам так и не переступив порога храма, и смуту 90-х годов, хотя и ушел в мир иной в далеком 1977 году. В свое время, предваряя публикацию о нем его друга Геннадия Русского «Житие Андрея Дмитриева» в альманахе «Литературные знакомства», я попытался по мере возможностей исследовать его феномен. Примерно таким же «московским Сократом», только меньшего калибра, конечно же, был Аркадий Суслов. Как в этой связи не вспомнить о светоче и властителе дум, профессоре Московского университета середины 19 века Николае Станкевиче.

«Я трепещу при мысли, что энергия души моей погибнет невозвратно», — написал он в письме другу в 1835 году. Геннадий Русский констатирует в этой связи:

«Человек, почти ничего не создавший письменного, ушедший из жизни совсем молодым, оставил неизгладимый след в современниках. Наш книжный век приучил нас мерить высоту интеллекта его письменной отдачей. Но письменность никогда не покрывает духовную жизнь своего времени. Нужно живое слово. Пусть не так, как прежде, в давние и более близкие к нам времена, но оно должно звучать».

Каким был бы сам Геннадий Русский — без Андрея Дмитриева? Каким был бы сам я — без Аркадия Суслова? Каким был бы Владимир Диброва — без Сергея Бурды, памяти которого посвящен его роман «Бурдик», написанный в США? Эти наши друзья своим сугубым молчанием и ранним уходом из жизни будто бы пробуждали жизненные силы и соки тех, кого они оставляли здесь вместо себя, придавали некую прочность нашему одинокому — без них — будущему, выводили из мертвенной спячки обыденности и обреченности на безвидное существование. Все ли о них сказано? Нет же, — и вот совсем недавно, в последней своей книге Диброва снова вспоминает Сергея Бурду в рассказе «Той, що зісхопив, і Той, що лишився», исполненным высокой печали: каким бы ты стал, друг мой, если бы дожид до этих времен?.. Этих людей уже давно нет в мире, но память о них и их уроки до сих пор не изжиты и не в полной мере усвоены нами.

Но чем же, по сути, являются эти уроки и что еще предстоит нам усвоить, понять — в их молчаливых уходах в небытие, в самих себе, «тех, кто остался» до времени в этом мире?..

Или, может быть, это все тоже иллюзии?..

А разве не об иллюзиях это вот все, о чем ты рассказываешь, Сероштан, — не о следах их на тусклой поверхности твоей жизни? Ведь что такое иллюзии? Самообман,

сопряженный с некими объективными социальными и психологическими данностями человеческой жизни: дружба, любовь, какие-то привязанности, — и со временем все иссякает, заканчивается, — а значит, было неистинным, иллюзорным, — а то и разочаровывает, часто до ненависти и гнева на себя самого: почему ты был так слеп, почему не видел очевидного — пустоты и никчемности человека, которого полжизни боготворил и любил? Потому что не хотел, потому что сладостен этот самообман. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!..» — сказал Пушкин. А любовь? Где ты найдешь ту меру ее, обозначенную апостолом Павлом в знаменитых словах, прошивших навыворот две тысячи лет: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»? Понимаешь ли страшное и головокружительное это: «Любовь никогда не перестает...» Есть ли у человека такая любовь? Или как даже помыслить о таковой?

В очередную годовщину смерти наших с братом родителей я прорвался через заслоны и рогатки таможенных и пограничных постов, разделяющих некогда единое пространство единой страны, и приехал в наши бедные Кобеляки, где, кроме могил на разросшемся до невероятных пределов местном кладбище, уже практически ничего не осталось у меня для души. Я помолился, как мог, перед родными крестами — греческие бронзовые накладки Спасителя были уже ободраны с них сдatchиками цветного металла, — затем прошелся по кладбищу, — уж на что невеликими были наши Кобеляки с заречным «Зеленым свиноводом», уже тоже благополучно почившим в новых экономических и политических условиях этих невероятных времен, но и здесь уже насчитывалось несколько десятков могил погибших солдат на Донбассе, уроженцев нашего городка. Над этим участком сыро похлопывало на ветру из зимней степи тяжелое жовто-блакитное знамя: *слава героям...*

Разве можно рассказать о том, что переполняло мою душу, когда я видел выгравированные на черных полированных камнях их фотографии — кое-кто с автоматами или на броне боевой машины пехоты, улыбающиеся, молодые, не ведающие о близкой судьбе, отправленные киевскими правителями на мятежный Донбасс наводить «конституционный порядок»? Почти все — ровесники моей младшей дочери. Какие вопросы я мог задать себе самому там, над этими войсковыми могилами?

Как мы смогли дойти до жизни такой?

Почему отстранение от власти Януковича, прежде законно избранного в президенты, в юности дважды отбывавшего сроки за разбой и воровство в кременчугской колонии для малолеток, сопряжено с этим вот не предствимым, не вмещающимся нигде? За что погибли и копируют эти мальчишки, улыбающиеся мне с черных могильных камней? И ведь — увы и увы — это совсем не конец...

Я мог только порадоваться за отца с матерью: они не дожили до этого времени и не увидели, во что оборачиваются благие порывы майданной демократии и опереточной независимости, — они почили и упокоились здесь, в самом сердце многострадальной Украины, своей родины, в сугубой бедности, почти нищете, обобщанные реформами новых демократических властей, первым делом распотрошивших сбережения пенсионеров. Они не дожили даже до торжественного введения в денежный оборот украинской гривны, так и ушли в мир иной при смехотворных купонах. Директор «Розочки» Жора Пасько выделил каждому из них по металлическому кресту и по сварной «гробничке». Да, еще и бесплатные гробы им достались, обтянутые по обычаю кучаком. Я все сокрушался, что они рано оставили этот мир — маме было всего 68, отцу — 70, но сегодня, идя по этому громадному кладбищу, вместившему в себя, вероятно, несколько Кобеляков — я и не подозревал, как много людей успело прожить здесь отведенный им срок, которые родились после моего отъезда в Москву, — я видел, что вокруг моих родителей лежит одна молодежь — ровесники моих детей, которые даже еще не начали жить, а уж ровесников наших с братом просто не счесть. Мы с ним, кажется, не жили еще так, как мыслилось и хотелось бы, а эти ребята лежат здесь уже лет по 10-15...

Что же произошло с Украиной и в целом с нашим славянским миром?..

«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ, — задался вопросом еще Гоголь, и продолжил пророчески: — Не дает ответа...»

Затем я проехал на автобусе до Кременчуга. Повстречался там с теми, кто не умер еще, — ну что делать, если приходится вынужденно так говорить?

С Шоней мы выпили хорошей горилки, закусив отменным салом, скоротав зимний вечер в разговоре о «Жестяном барабане» Гюнтера Грасса. Шоню по каким-то странным недоумениям несколько раз объявляя умершим — я даже в первый раз при такой вести позвонил, трепеща, его жене Люсе и готов был немедленно приехать на похороны, впрочем, если еще на них успевал.

Голос Люси был ровен, спокоен.

— А где Шоня? — аккуратно спросил я у Люси, дозвонившись не без труда.

— Да вон спит на диване пьяный, — сказала мне Люся.

Надо ли говорить о радости, обуявшей меня?

Есть такое поверье, что объявленный умершим переживет всех и вся. С Шоней так и произошло. Он весьма опускался в запоях и порой уже пропивал какие-то вещи из дома. Так он пропил всю коллекцию лазерных компакт-дисков, которую я же и помогал ему собирать из Москвы.

Ну, тому и споспешествование было нехилое: рядом с Шониным обиталищем, на троллейбусной остановке, был круглосуточный генделик, где пластиковый стаканчик бодяжной водки стоил всего 3 гривны... Это при том, что столько же стоил проезд на троллейбусе из конца в конец города. По-старому — 4 копейки... Ну разве это не забота о людях?..

Шоня заглывал такой вот стаканчик и тащился домой на диван. Просыпался и снова перся в генделик за очередной дозой. Он ничего не ел, почернел, похудел, — уже тень скорой смерти пребывала с ним рядом. Тем временем его дочь Маша в Киеве вышла замуж, Шоню, чтобы не позориться перед родней жениха, о свадьбе даже не известили, и узнал он об этом событии только через полгода. Так называемые «друзья», которых у Шони было весьма много, за кружку пива покупали его компакт-диски, а после, когда покупать уже нечего стало, просто гнали взащей его от себя. Может быть, я был последним, кто не поставил на нем крест.

— Скажи, Сероштан, — в алкогольном запале говорил мне мой старый друг детства, — кто в этом городе, кроме меня, читал Гайто Газданова?..

Ну, тут нечем было крыть, конечно же...

Но как-то Господь все-таки вывел Шоню из этого сугубого клинча. Он заболел, и врач сказал ему, что он волен сам выбрать жизнь или смерть. Если жизнь — значит, следует отказаться от водки. Что Шоня и сделал и пять лет не брал в рот ни капли, находя в состоянии трезвости глубокое удовлетворение, какое прежде находил в алкоголе. Через пять лет воздержания мы с ним потихоньку от Люси, Маши и сестры, бизнесвумен Мариночки Шостак, которая на знаменитом на всю Полтавскую область RAV4 рассекала степи между Кобеляками и Кременчугом, начали с ним выпивать, но в должную меру, конечно. А сегодня он даже бросил курить, отдав этой привычке более полувека.

И здесь я тоже могу составить довольно большой мартиролог, но не стану этого делать, — нет в этом смысла. Как говорится, все мы там будем когда-то.

«И на обломках самовластья // Напишут наши имена!» — еще раз процитирую Пушкина...

На пустынной набережной Днепра, пронизываемые ледяным ветром с незамерзающей стремнины реки, мы бродили с отцом Вовушаном, но отнюдь не предавались ностальгическим воспоминаниям о том, как он привозил в Кобеляки переснятые в 10-й раз фотографии британских рок-групп вроде Christie and Kinks и продавал их на школьном дворе по три рубля за штуку и как его потом прессовал в милицейском участке дядя Ваня Покинборода, давным-давно лежащий на кладбище в Кобеляках под пирамидкой, окрашенной серебрянкой и увенчанной красной звездой защитника социалистической законности и порядка. Как ни странно, и жизнь спустя мы с Вовушаном говорили о музыке. Я смотрел на Приднепровский парк, шумящий черными кронами высоких деревьев — где-то в глубинах его заросла ивовым молодняком «аллея Вики Эванс», которую я наименовал так в честь своей тогдашней недолгой подружки Вики Нечипоренко, которая пела в рок-группе «Ровесник» на здешней танцплощадке в почти забытые доармейские мои годы. Отец Вовушан тоже помнил Вику и великий хит тех времен «Водограй». Сегодня я бы не смог ответить на вопрос: почему к имени Вики я приставил это невразумительное «Эванс»? Да и где ныне Вика?

— Представляешь, — сказал я отцу Вовушану, — какими мы были тогда? Ведь Вика позволяла мне только себя целовать неумело, а когда моя ручонка тянулась к ее высокой девичьей груди, она не давала к ней прикоснуться... Я чуть ли не каждый вечер после работы на «Розочке» на автобусе приезжал в Кременчук к Вике, мы бродили вот здесь, по осеннему Приднепровскому парку, по этой аллее, — и здесь был тогда удивительный воздух, густой, как настоящая хванчкара, и я пьянел от всего этого — от чернильной тьмы, от пряного духа опавших листьев, которые шуршали под нашими молодыми ногами — впереди у нас еще расстилались дороги, по которым нам предстояло вскоре отправиться в одну сторону и прочь из этого города и даже из этой земли — от днепровского ветра, от запаха волос Вики, от ее голоса...

— Можно представить, о каких глупостях вы с ней говорили, — сказал отец Вовушан.

— Да ведь это неважно — в произносимых словах нету ведь смысла, как нет смысла в разрозненных нотах, прежде чем они не сопрягутся в таинственные созвучия музыки. Наверное, это и можно назвать юностью и первым неопасеньем своим, как говорил Боратынский: «Храни свое неопасенье, свою неопытность лелей, // Перед тобою много дней...» Только дней уже немного осталось...

С Викой мы встречались всего около месяца. Недаром же она не позволяла мне дотронуться даже пальцем к себе. Эта честь и сопутствующее тому блаженство сохранялись вкупе со всем остальным для кого-то другого. После возвращения из Читы в Кобеляки, в Кременчуге я ее уже не нашел. «Ровесник» распался, руководитель его Витя Коробов, талантливый музыкант и весьма достойный человек, уехал в Харьков или еще куда-то, не знаю, бас-гитарист Саша Козлов поступил в полтавскую группу «Крайне», Игорь Золотарев подался в Москву и солировал на гитаре в коллективе Ирины Понаровской, Ворону убили цыгане в Кохновке, а Вика...

— А Вика твоя, — сказал отец Вовушан, — бросила петъ, завербовалась в Одессе поварихой на торговый сухогруз «Михайло Коцюбинский» и навсегда исчезла из города. И «Водограй» всеми уже крепко забыт...

— Да, кто-то в юности изживает иллюзии, а кто-то с ними и умирает...

— Ну а чего ты хочешь, Сероштан, — сказал отец Вовушан, — вот представь себе, что я бы до сих пор приезжал к вам в Кобеляки и продавал фотографии Juicy Lucy и Creedence, — ладно, пусть не во дворе вашей школы, а колхозникам из «Зеленого свиновода», которые, может быть, что-то помнят еще из тех лет, — разве это не стало бы поводом упечь меня в «дурку»? А ведь это можно обозначить как «верность идеалам хиппизма», не так ли? Нет, — человек обязан расти, обязан изменяться, отрицая себя ветхого, преобразаясь, достигая того, о чем и не помышлял даже, сидя с гитарой вот здесь, на пляже, в каком-нибудь 1971-м дремучем году, как Вадюра, — помнишь те времена, как мы с тобой впервые увидели и услышали тот его концерт, собравший в кучу всех отдыхающих?

— Да как же не помнить? Яркий талант, прекрасные стихи, запоминающиеся песни... Я не рассказывал тебе историю из середины 80-х годов о том, как сделал через Аллу Латынину ему практически ангажемент. Алла Николаевна была влиятельной литературной дамой и после моего очередного эмоционального рассказа о Вадюре сказала, что представит его как надо в московском бомонде... Дело оставалось за малым: Вадюре надо было приехать с гитарой в Москву.

— И что же?

— Он ответил, что не может приехать. Его держит работа на «Розочке»... Да и вообще он без всякого энтузиазма отнесся к этой моей инициативе. Надо ли говорить, что такой шанс выпадает всего один раз в жизни?..

— Ну да, это напоминает старый анекдот об актере, которого пригласили на съемки в Голливуд, но он ответил отказом: на носу были новогодние елки и халтура в облике Деда Мороза... Я ведь вижу его иногда в Кременчуге, когда приезжает потусоваться здесь, на Соборной, — все такой же веселый, хотя и ходит с клюшкой уже по случаю повреждения шейки бедра. Пишет сатирические частушки против мэра и полтавского губернатора, что-то ему не нравится в них: борется изо всех сил с просиженного дивана. Злоупотребляет, конечно, спиртным — остался еще порохов в пороховницах. Жена давно уехала на заработки в Италию и там вышла замуж за какого-то старика. Умница-сын, выученный на итальянские деньги, работает и живет в Дюссельдорфе. Друзья издали два компакт-диска с его песнями. Там в основном старые, еще 70-х годов...

— Можно сказать, что он, похоже, единственный, кто остался, судя по всему, прежним и не предал, как ты говоришь, идеалов хиппизма. Как там у него в давней песне было: «Подверну я повыше джины // и пойду по Руси хипповать...»

— Дальше Кременчуга он так никуда и не ушел...

Мы стояли у гранитного парапета, за которым начиналась песчаная плоскость днепровского пляжа, пустая, безвидная, с кусками льда, прибитыми к кромке воды тугим сырым ветром, и отец Вовушан, построивший в истекшем времени Троицкий собор возле электростанции, подле памятника комсомольцам 20-х годов, вдруг сказал неожиданно:

— Все тщета, Сероштан... Даже музыка, которую мы так любили с тобой...

Когда я пришел в построенный отцом Вовушаном собор, я снова заметил знамение новых времен на Украине: памятник комсомольцам, в отличие от памятника Ленину на площади перед гостиницей «Кремень», не свалили молодцеватые «декоммунизаторы» в защитных куртках с нашивками «Правого сектора», а просто взяли в каркас, обтянутый затем брезентом — памятник комсомольцам, под которым мы некогда собирались

на меломанские сходки по субботам, был сложен из одинаковых крупных блоков гранита, без всяких отдельно стоящих фигур, и разбирать его было совсем не с руки «правосекам». Если на площади Ленина было где разместиться подъемному крану, чтобы поднять с постамента главного украинизатора поверженной в прах Российской империи, то здесь, возле Троицкого собора, прежде слома комсомольцев 20-х годов следовало вырубить половину парка и проутюжить тяжелой техникой церковный сквер, о котором заботились престарелые прихожанки о. Вовушана. На это борцы с проклятым коммунистическим прошлым пока не решились.

Я было запротестовал: как же тцета, если я, к примеру, все еще слушаю...

— Ну не Black Sabbath же, — усмехнулся о. Вовушан.

— Ну, конечно же, не Black Sabbath, да я и в те годы не был поклонником их... Ну, 2/3 моей коллекции компакт-дисков — это так называемая «классика», хотя это определение неточно совсем. Ведь классикой можно назвать исключительно музыку 19 века, как и классическую архитектуру тех лет, а ведь — если говорить об архитектуре, а тебе, как строителю Троицкого собора, должна быть близка эта тема, то классическому периоду 19 столетия предшествовало барокко, готика, архаика темных веков... Так и в музыкальной истории: говоря «классика», мы используем привычный троп, совершенно ничего не проясняющий.

— Ну, такие уж мы, — прости, Сероштан, но уже не осталось времени жизни разбираться во всем этом, а тем более слушать Дитриха Буксдехуде, Иоганна Розенмюллера или Хуана Хризостомо де Арригу...

— Хорошо, отец Вовушан, скажи тогда мне как священник и друг, что же есть единое на потребу?..

Но он только улыбнулся и ничего не ответил.

Возвращаясь домой после разговора с Владимиром Мартыновым и вспоминая по этому поводу свою встречу с отцом Вовушаном в сыром и неприветливом Приднепровском парке, продуваемом навывлет ветром с реки, где не осталось никаких следов ни от меня, ни от Вики Нечипоренко, ни от Вадюры или того, что можно было бы наименовать нашим прошлым, я улавливал некую общую связь, некую общую интенцию этих двух вроде бы незначительных разговоров со старшим товарищем-композитором и старым другом моим Вовушаном, и тут я подумал о смерти Мишки Рослякова в запертой квартире на Белорусской, и это внезапное памятование о Мишке каким-то таинственным пазлом дополнило эту странную мозаику разнонаправленных моих чувствований и размышлений, — в его уходе, в самом образе этого ухода из этого мира в мир другой, было нечто важное для меня самого, что-то последнее, что мне осталось понять и осмыслить. Может быть, последняя ниточка, которая соединяла меня еще с тем, что я любил больше всего на свете, — с музыкой.

Глава 22. МИШКИНА МУЗЫКА

Я снова и снова возвращаюсь своим памятованием в ту сырую, тяжелую зиму 1982-83 года, печальную, в чем-то трагическую, в тот «конец прекрасной эпохи», в котором как раз и следовало начинать новую жизнь. Сгустилось и застыло вокруг меня непрозрачным стеклом сугубое одиночество — призрачное, обманчивое зеркало Литинститута разлетелось в мелкую крошку, — о каком-то студенческом братстве творческих, одиноких по определению, людей нечего было помышлять даже в пору учебы и жизни в общежитии на Добролюбова, 9/11, а уж когда мы после ритуального фотографирования физруком Чирковым с ректором Пименовым и прочими нашими замечательными преподавателями на ступенях института разошлись и разъехались в разные стороны, совсем обо всем и о всех можно было забыть. Да что там с покойницей фотографией той? Лена Черникова все публикует в Фейсбуке время от времени ее и неустанно ведет счет тем, кто «не вернулся из боя». А я, рассматривая ее в очередной раз, посчитал, скольких людей просто там не хватает, кто не отозвался на зывание физрука выстроиться для дежурного снимка — да ведь чуть ли не половина курса так и «не вошла в кадр»... Ладно, Вишневой не встал рядом с Леной и женой Аллой — ему не дали защититься, и потому он не считал себя выпускником, будучи обижен на Пименова и других, причастных к его неудаче. Но где мои добрые друзья — Игорь Белоус и Эргали Гер? И еще ведь десятка полтора людей не хватает. Игорь и Эргали, засунув новенькие дипломы за пазуху, отправились, вероятно, в «кишку» в Пляттовском доме и отметили винопитием это событие на бульваре напротив кафе «Аромат» или рядом, на скамейке за памятником печального Гоголя, что стоит во дворе усадьбы, в которой тот сжег 2-й том «Мертвых душ». Мы выпили с Володей Малягиным, с Марком Галесником и словаком Теодором Крижкой, которые были со скорыми своими женами, а в ту пору невестами, по стаканчику шампанского под какими-то кустами возле памятника Герцену, — Чирков и это ухитрился запечатлеть, — и я вышел

на шумную и блистательную во все времена улицу Горького, где на месте снесенного Страстного монастыря стоял грустный задумчивый бронзовый Пушкин, и подумал: что же мне теперь делать? И поплелся в человеческом месиве мимо «Минска», столь памятного мне на 2-м курсе, в редакцию «Юности», прихватив в Елисеевском бутылку крымской мадеры, и угостил своих конфиденток, Таню Боброву и Эмму Проскурнину, которые горой стояли и боролись за публикацию моей первой повести на страницах журнала: *а я сегодня диплом получил...*

— Да?... Ну, поздравляем тебя, Сероштан.

Вот и все.

Ради этого пустого и плоского летнего дня я и рискнул пять лет назад приехать сюда с Чилей на кременчугском поезде из родных Кобеляков?..

Ты мог вернуться работать в «Комсомолец Полтавщины» или же в «Зорю Полтавщины», и тебе, вероятно, как молодому специалисту, даже дали бы, страшно подумать, квартиру...

Тут с братом моим еще история примерно по сокровенному смыслу похожая через несколько лет приключилась. Пока я учился на Тверском, 25, он проходил срочную службу в парадной охране штаба Прикарпатского военного округа во Львове, и ему довольно-таки потрепали нервы по моему поводу тамошние военные особы: кто да что брат твой, чтоб ему сгинуть, антисоветчик, враг трудового народа и прочее, — им же заповедана была бдительность по поводу любого чиха или злокозненного намерения, а тут — брат часового у Красного знамени или что уж он там охранял, — в глубокой разработке московского КГБ, а вдруг недоумок-брательник ему в письме какую-нибудь военную тайну расскажет, а тот ее на «Голос Америки» или, страшно даже подумать, прямиком в ЦРУ передаст? Так что весьма бдели товарищи. Перед дембелем брат, плененный изысканными польскими красотоми роскошного города, решил поступить на подготовительное отделение исторического факультета Львовского университета. Он, как отдавший воинский долг, имел льготу для зачисления. В увольнении зашел туда как-то, и там с радостью изъявили готовность принять его. Следовало только принести от командования характеристику и формальное ходатайство, которые он без труда получил у своего старшего командира. И когда он с этими документами шел по территории штаба, открыленный надеждами и мечтами о близком студенчестве, ему повстречался его недруг-литовец Йонас, сержант-замкомвзвода, люто ненавидевший брата за оккупацию своей любимой Литвы и в целом Прибалтики.

Ну вот почему-то всех нас в этом винули... Да и Юрис Чапиньш твой... Дрались ведь даже с ним за оккупацию Латвии... Жаль, не дожил до независимости, бедолага...

— Ну-ка, что тут у тебя, покажи! — приказал Йонас-сержант. Взял из рук брата эти бумаги, посмотрел и разорвал на мелкие клочки: — Я сам напишу тебе характеристику. Да только такую, что тебя и в тюрьму не возьмут.

Так брату пришлось возвращаться на Полтавщину и строить свою жизнь уже по другому вовсе лекалу. А сегодня, когда все мы стали свидетелями того, что происходит на нашей родной Украине, брат понял, что рукой Йонаса тогда водил Сам Господь, уберегший его от участия в том, что представляет из себя нынешняя историческая наука на Украине.

— И что бы я там сейчас делал? — сказал мне брат. — Ходил бы с прапором по Львову и скандировал бы речевки про Степана Бандеру?... Или писал бы исследование о том, что древние шумеры произошли от запорожских козаков?... И на полном серьезе утверждать, что во всех украинских бедах виноват Путин и москали?..

Так что нечего пенять нам на неудачи, на чье-то немилосердие по отношению к нам, на злой рок, довлеющий над какими-то нашими начинаниями и предприятиями. Все, даже плохое, что происходит с нами, попущено Богом нашего ради спасения или же вразумления, как говорится. И пример с моим братом о том и свидетельствует со всей очевидностью.

Так и у меня, что говорить, был какой-то выбор — вернуться в Полтаву и описывать счастливые колхозные будни и орденоносных передовиков производства на серых газетных страницах и даже жилье где-нибудь на выселках получить или же зацепиться в Москве коготком, испив не то что полную чашу страданий — дай Боже нам никогда не узнать даже того, что скрывается за этим понятием, — но довольно обильно хлебнуть грачевской сивухи, опуститься на социальное дно. Я рассудил просто: в Полтаву, в Кобеляки или в Кременчуг я всегда успею вернуться — они куда не денутся от меня.

И остался в Москве.

После окончательного водворения на Грачевке в газовой котельной на Малой Колхозной, уже вместе с ангелом-хранителем Агнешкой, и первичного обустройства нашего бытия, пришло время расчехлить мой верный National Panasonic, едва не конфискованный участковым Васей Шломой и краснопресненскими ментами, и отправиться

на Безбожный к моему младшему приятелю по институту Егору Радову, сыну знаменитой поэтессы Риммы Казаковой. До женитьбы Егора на Ане Герсимовой было тогда еще далеко. Егор, как и его друг-сосед Мишка Росляков, сын писателя-фронтовика, были страстными меломанами. Мишка вообще сообществом писательских «безбожных» детей был делегирован на добычу музыкальных новинок и каждую субботу терся на сходке фарцовщиков и дискоманов у магазина «Мелодия» на так называемой «вставной челюсти» Москвы, Калининском проспекте, который ныне ради какого-то благозвучия называется Новым Арбатом. До меломанского рынка — «Горбушки», в Филах, в парке имени Горбунова, еще оставалось лет пять. Мне же каким-то чудом и невероятным везением в ЦУМе удалось купить, выстояв многочасовую очередь, несколько блоков кассет TDK и Agfa, которые и были счастливо записаны на Безбожном на аппаратуре Егора в течение нескольких дней. Как это ни странно, но я совершенно не могу вспомнить, что за музыку я записывал на те кассеты. Просто помню, что количество ее было изрядным весьма. Скорее всего, это были какие-то довольно средние англо-американские группы второго порядка вроде Fleetwood Mac. Я приходил с Грачевки на проспект Мира ежевечерне, ко времени возвращения Егора из института. Тут же со своего этажа приходил Мишка, и начиналось некое скоморошеское веселье — в роскошной казаковской квартире я отходил душой от грачевской убогости и крошечной нашей с Агнешкой нищеты. Листал драгоценные книжные фолианты в кабинете Риммы Федоровны, пока ее не было дома. Рассматривал фотографии — и запомнил одну: Егор был сфотографирован с Маркесом — мы зачитывались тогда его романами «Сто лет одиночества» и «Осенью патриарха». В 1970-х годах Маркес посетил СССР, и, так как Римма Федоровна была тогда секретарем Союза писателей, ей не составило большого труда поставить рядом со знаменитым писателем своего сына для такой завидной фотографии. Мы много шутили, смеялись, пили чай и кофе, которые нам готовила старая няня Егора, Мишка Росляков в лицах рассказывал разные забавные истории, мы курили на огромной открытой лоджии под неодобрительными взглядами Риммы Федоровны, и я наслаждался величественными панорамными видами на проспект Мира и прилегающие переулки. Знаменитая советская поэтесса никогда не стесняла какими-либо запретами своего единственного сына, походившего на девушку со своими русыми кудрями и беззащитным взглядом карих глаз. Она была не против ни громкой музыки, ни нашего бесчинства с курением, ни даже против того, что Егор пускал в дом меня, затрапезного обитателя люмпенского района, населенного сущим отребьем.

Егор учился на пару курсов ниже меня и естественным образом влился в нашу хипповую меломанскую литинститутовскую компанию, куда, помимо меня, входил Томас Чепайтис, благородный литовец, внук одного из отцов советского кинематографа Леонида Захаровича Трауберга и сын тонкой, изысканной переводчицы Кортасара, Честертона, Льюиса и многих других Натальи Леонидовны Трауберг, удивительно красивой женщины в свои средние годы. Близкий друг Томаса, Митя, переехал в 70-е годы в Америку и по случаю передавал ему пластинки Jim'a Croce, Джона Денвера и особую ценность для меня — диски Doors. Томас не особенно дорожил такими делами, да и меломаном был все-таки по случаю благополучного, можно сказать, даже знатного происхождения — об этом свидетельствует его любовь к кантри-певцу Джону Денверу, подвергавшемуся нашему общему порицанию и осуждению. Конечно, потуги и страдания в глубине Украины во времена нашей школьной поры по сбору обеденных денег на покупку за 40 или за 60 рублей пиленого диска Beatles или Alice Cooper'a и умирания от счастья обладания этими сокровищами Томасу были неведомы. Ну, он онтологически был таким хиппарем не от мира сего — будучи из состоятельной переводческо-кинематографической семьи, живший на два города — Вильнюс и Москву, он ходил в чем попало, совсем не придавая значения внешнему виду. Красивое лицо викинга, русые волосы до плеч, отсутствующий взгляд голубых глаз, широкие плечи, мужская стать — конечно, все девушки западали на Томаса, а Света Василенко, его однокурсница, ныне возглавляющая один из альтернативных Союзов писателей, до сих пор не может забыть, как млела от одного звучания его имени.

Немудрено: после захолустного Капустиного Яра в бесконечности астраханской пустыни, — и тут на тебе: Томас...

Ну, про Аню Герасимову, нынешнюю рок-певицу и переводчицу с нескольких языков, и говорить не приходится: она безоглядно влюбилась в нашего скандинавского полубога, спустившегося с прибалтийского низкого серого неба. К этому стоит добавить, конечно же, что обильный переводческий пирог советской литовской литературы был мирно и справедливо поделен как раз между родителями Ани и отцом Томаса, Вергилиусом Чепайтисом, потому брак отпрысков, который вполне подра-

зумевался между этими двумя кланами, но, увы, так и не состоялся по неизвестным причинам, был бы сверххудачным и сверхмотивированным. Думаю, Аня пережила глубокую драму по этому поводу: Томас не ответил взаимностью ей.

В нашу компанию входил и поэт из Киева Игорь Винов, — на мой взгляд, самый талантливый из группы так называемых «метаметафористов», как не особенно удачно окрестил этих ребят Константин Кедров. Кроме него, там были Иван Жданов, Алексей Парщиков и Александр Еременко, близкий друг Эргали Гера. Каждый хорош был по-своему, разве что Парщиков не особенно меня впечатлял, но его-то как раз и раскручивали некие силы больше всех именованных. Винов же оказался глубже всех задвинут в пыльный угол, чтобы не мешал Парщикову лезть на эстраду в достижении славы. О публикациях здесь вовсе не приходится говорить: первый раз Винова опубликовала «Литературная учеба» в самом конце 80-х годов, в то время как Парщиков уже читал лекции в каком-то университете в США и дружил с Иосифом Бродским.

Винов был весьма плодovit, и у меня до сих пор хранится в архиве довольно внушительная подборка его удивительных стихов, которые я время от времени перечитываю, не уставая — до сих пор, и это дорогого стоит — поражаться глубинной образности его текстов. В конце концов Игорь, устав сражаться с косностью литературного процесса как в Москве, так и в Киеве и не обладая пробивными маркетинговыми способностями Парщикова, забросил поэзию и занялся эзотерической психологией. Он ведет платные семинары в Киеве и в Севастополе и представляет себя таким вот затейливым образом: «автор проблемно-символического подхода, доцент Института кататим-имагинативной психотерапии (Германия), психотерапевт МОКПО\IGKB, председатель научно-методологического совета «Школы проблемно-символического образования», психоаналитик, основатель «Киевской школы мышления», президент всемирной организации проблемно-символического подхода, литератор». Навскидку выхватываю из интернета название одного из его семинаров: «Онтология соблазна — конвертированное желание. Проблемно-символическая (пс) лаборатория»...

А ведь в начале 90-х годов Игорь вроде бы пришел в церковь, но меня напрягло то, что довольно скоро он сообщил, приехав к нам с Агнешкой из Киева, что получил благословение от каких-то старцев заниматься целительством недугующих посредством возложения на них рук... И вот теперь какая-то загадочная *кататим-имагинативная психотерапия*... Аня Герасимова без обиняков и по-простому называет его просто «мудрецом», не входя в эту всю невнятную детализацию.

Примечательно здесь то, что литератором Игорь называет себя в последнюю очередь. А жаль, между прочим...

В 1979-м году он привез из Киева удивительную запись некоего Стефана Микуса, греческого мультиинструменталиста, и мы целыми вечерами зависали в его комнате в 9/11 вместе с его тогдашней подругой, латышкой Лелдой Стумбре, расслушивая эти удивительные психоделические задвижки на никому неведомом языке.

Кажется, Лелда в независимой Латвии стала даже министром культуры?..

Уже много лет спустя я разобрался, что Микус выпевал псалмы Давида на особливом наречии — то ли арамейском, то ли греческом *кафареус*. Конечно, этого имени никто слыхом не слыхивал даже сегодня, не говоря уж о том прошлом времени. Спустя несколько десятилетий в «Пурпурном легионе» я нашел целый каталог пластинок Микуса, изданный западногерманским лейблом ЕСМ, специализирующимся на экспериментальной музыке «не для всех», и кое-что приобрел, но этого диска, магнитную запись которого Игорь привез из Киева, я не только до сих пор не нашел, но даже упоминания о таковом не сыскал. Диски Микуса разнятся между собой и весьма, и каждый интересен сам по себе, но тот, первый, безымянный, с псалмами Давида, потрясший нас в конце 70-х годов до основания, так и остался в памяти недостижимым по степени невероятного музыкального откровения. В 1990-е годы Игорь время от времени присылал к нам с Агнешкой на постой и некое посильное для нас воспомоществование разных людей из Киева. Одним из них был замечательный украинский писатель и драматург Владимир Диброва, за что я весьма и весьма признателен Игорю.

В ту пору он писал диссертацию на соискание ученой степени, и ему пришлось несколько недель работать в Румянцевской библиотеке «Имени». Жил он у нас, на Грачевке. Естественным образом мои друзья, молодые писатели Петр Паламарчук, Володя Карпец и другие, привлекли Диброву к участию в литературном кружке у Мити Осадчего на Большом Сухаревском переулке. Так и получилось, что и до сей поры мы сохранили с Владимиром теплые и дружеские отношения, хотя и не виделись с ним с середины 1990-х годов. Я уже говорил, но все же повторюсь еще раз: на мой взгляд,

Владимир Диброва является самым мощным и лучшим современным украинским писателем мирового, скажем так, уровня, а его блистательная авангардистская драматургия переворачивает все устоявшиеся представления как о литературе, так и о театре, — поэтому его пьесы и не могут быть поставлены на сегодняшней сцене: такого театра нет еще ни в России, ни тем более на Украине, и когда такой театр будущего появится — неизвестно, увы; полтора десятка удивительных книг, написанных Володей, так и числятся в разряде все еще «непрочитанных книг». Будем надеяться, что все-таки — до поры.

Ну а чем остается утешаться писателю — разве не этим? Наш мир давно перестал быть литературоцентричным, по точному наблюдению Владимира Мартынова. Но нам при всем этом все-таки предстоит жить и работать... Потому что верховный замысел о каждом из нас так и остается неведомым нам...

В декабре 1980-го года все мы пережили трагедию и настоящий шок: в Нью-Йорке от руки какого-то идиота погиб наш любимый Джон Леннон. И я помню, как Егор, сидя на институтском подоконнике возле стенда, на котором вывешивались публикации наших студентов в периодической прессе, чуть ли не в голос рыдал о столь нелепо погибшем кумире.

Но... Все это прошло, скомкалось и куда-то исчезло. Кто выжил и кто остался после убогих 1980-х с их иллюзорными надеждами на перемены и после невероятных, немислимых 1990-х?

Жизнь спустя Эргали Гер привел к нам в гости Томаса. Я иногда находил в интернете его остроумные очерки о путешествиях по Америке, и надо отдать должное его приметливому глазу и писательскому таланту, но он отнюдь не занимался литературой, как того следовало бы ожидать, — как, впрочем, и я сам, — но можно сказать — просто жил так, как ему нравилось: женился, рожал маленьких чепайсят, разводился, путешествовал по миру; с горстью друзей, альтернативных художников и музыкантов, организовал в депрессивном районе Вильнюса карнавальную квазиреспублику Ужупис и стал там министром иностранных дел — ну, это естественно: Наталья Леонидовна постаралась, чтобы ее дети хорошо знали иностранные языки. В Ужуписе постоянно организываются различные увеселительные мероприятия, маскарады и всякие прикольные действа, несколько раз в году там выступает с концертами Аня Умка Герасимова...

К тому времени, когда Эргали привел Томаса к тебе, ты не видел последнего около 30 лет...

И, конечно, как и я сам, Томас стал совершенно другим. От скандинавского витязя практически ничего не осталось. Некогда русые волосы потемнели и начали по-ближневосточному курчавиться, благородный нос явственно загибался крючком — одесская порода Леонида Захаровича, отца советского агитпроповского кинематографа, явно побеждала прибалтийскую слабую кровь. Томас до глаз зарос неопрятной седой бородой, делавшей его весьма похожим на бомжа, на сутулых плечах висел, как на вешалке, старый потертый пиджак, ногти на пальцах рук были окаймлены черным... Но при этом из кармана пиджака торчала засаленная книжонка.

Вообще-то он себя в интернете, как и Винов, называет переводчиком, поэтом, эссеистом и только потом уже «министром иностранных дел республики Ужупис». Если судить по повести «Заклание тельца» Ромуальдаса Гранаускаса, которую он перевел под именем своего отца, как он сам тебе о том говорил в пору вашего приятельства на Тверском, 25, то потенциал у него и тогда был чрезвычайно могучий...

В конце 1980-х годов в Литве разразился скандал: знаменитый Вергилиус Чепайтис входил в головное правление литовского националистического движения «Саюдис», был чуть ли не его организатором, — и вот когда в Вильнюсе раскрыли архивы тамошней госбезопасности, неожиданно выяснилось, что он был многолетним секретным сотрудником КГБ под кодовым именем «Юозаса». К этому времени старший Чепайтис стал уже депутатом парламента, и изо всех сил боролся с наследием проклятого советского империализма, — из парламента ему пришлось, конечно, уйти.

Что, впрочем, было вполне естественным: контора всегда старалась работать на упреждение. Так же было и в Москве: вассильевская «Память», баркашовское «Русское национальное единство», ЛДПР Жириновского несли и несут на себе родовые отметины заботливых кураторов из 5-го идеологического управления Филиппа Бобкова. Ты сам знаешь, кто на базаре кричит громче всех «Держи вора!»...

Разъяренные литовцы из «Саюдиса» бросились на расправу с переводчиком-провокатором. Чепайтисы — сын и отец — забаррикадировались в своем большом

доме в престижном районе Вильнюса и, говорят, даже палили из охотничьих ружей из окон в толпу обманутых в ожиданиях патриотов. Осаждавшие отступили... Так что Томасу — несмотря на довольно неприятную подоплеку этой истории, если не сказать большего — стоит отдать должное уважение за цельность, стойкость и мужество.

Время подсушило нравственные раны свободолюбивых литовцев. Это позволило старшему Чепайтису как ни в чем не бывало написать и издать в 2007 году книгу мемуаров о своем участии в событиях 1988-1990 годов «С Саюдисом за Литву» („Su Sąjūdžiu už Lietuvą“). Не знаю, обошел ли он молчанием эти драматические события со своим секретным сотрудничеством с КГБ или же как-то о них упомянул в некоем контексте. Но его удачная и плодотворная переводческая деятельность при коммунистах вполне свидетельствует о нехилой поддержке из неких весьма влиятельных и властных структур.

Но и это — прошло.

Ныне же — все уже не то и не так: на последнем «Нонфикшене» атташе по культуре из литовского посольства чуть ли не на коленях умоляла московский литературный бомонд переводить и пропагандировать литовскую литературу, но, кажется, кроме Ани Герасимовой и сестры Томаса Маши Чепайтите, этими делами никто и не занимается: безвозвратно прошло золотое времечко дружбы народов и многонациональной советской литературы с миллионными книжными тиражами. Аня же своих литовцев вроде Патацкаса и других издает за свой счет и сама же по случаю распространяет по интернету и на концертах.

В связи с Мишкиной смертью Аня, в частности, вспомнила, как они в самом начале 80-х годов ездили с Егором и Мишкой в Крым и что там произошло:

«Тем же летом, в расширенном составе (плюс наш сосед Тёма с женой Лариской) ездили автостомом в Крым и целый месяц жили в палатках в бухте Ласпи, питаясь обильными остатками пионерских обедов из двух соседних пионерлагерей. Было много приключений, которые опускаю, скажу только, что обратно Мишка ехал один (мы с Егором страшно болели животом, объевшись опрысканного винограда с придорожного виноградника, и вынуждены были тормознуть в Севастополе), в Симферополе на вокзале у него стырили рюкзак со всеми вещами, и он продолжал свой путь в одних шортах (в сентябре было уже достаточно прохладно), голодный, без денег и документов. Где-то под Запорожьем он забрался в кукурузное поле, тщетно пытаясь согреться и поспать в куче кукурузных стеблей. И тут, говорит, гляжу, едет ко мне прямо по полю ментовская машина... Конец этой истории лучезарен: запорожские менты не только довезли его до вокзала, но и снабдили едой, одеждой и 15-ю (или все же пятью?) рублями, и он благополучно добрался до Москвы... Наше путешествие получило неожиданный, говоря опять-таки современным языком, boost: по его следам Мишкин папа Василий Росляков написал знаменитую статью в «Литературку» «Труба зовет», где на примере нашей троицы (никаких других представителей «движения хиппи» дядя Вася, кажется, не знал) вдумчиво клеймил порочные наклонности современной молодежи. К нашему хохоту, в статье упоминался Николай Кузанский — философ, чья книжка ездил с нами в рюкзаке у Егора и удостоилась почему-то повышенного внимания севастопольских ментов: в отличие от запорожских, они вели себя весьма нелояльно, в день приезда нас свинтили четыре раза, первый раз был самый длинный и мрачный, я (слегка беременная) орала и рвалась на свободу, а этого Николая Кузанского они перетряхнули постранично, только что на зуб не пробовали. По иронии судьбы эта статья оказалась едва ли не первым упоминанием о «хипповской системе» в советской прессе, и именно в ответ на нее был опубликован в той же «Литературке» пресловутый «манифест Сталкера».

И тут тоже, как в случае с Энди, кассеты, купленные в ЦУМе по счастливому случаю, закончились, закончился с ними и наш многодневный марафон звукозаписи. Я вернулся на Трубную и с тех пор больше никогда не был уже на Безбожном.

Дома я вывалил записанные кассеты на письменный стол и тупо уставился на прежде так вожделенные мною разноцветные пластмассовые коробочки и поймал себя на том, что отчего-то вовсе не испытываю никакого удовлетворения от обладания ими и той музыкой, которую мы законсервировали туда на долгие годы предстоящего мне будущего.

Я не мог разобраться, что происходило со мной и почему не было во мне радости.

Вполне возможно, что так и начиналась та новая эпоха, знамением начала которой и была смерть Брежнева, и мое, или, точнее, наше с Агнешкой водворение на Грачевке и в Сухаревских переулках, а Егор, Мишка, Томас и Аня Герасимова, а вместе с ней и мои друзья с улицы Герцена — Аркаша Суслов, Мила Космачевская, Лика и Юра Калинин пребывали в еще близком, но все-таки некоем уже отдаляющемся пространстве, — это подобно тому, как ты стоишь на корме уходящего в днепровскую

ширь быстрокрылого «метеора» и все еще видишь пристань, от которой только что отчалило судно, видишь людей, стоящих на дощатом дебаркадере — и среди них еще различаешь отца, мать и брата, провожавших тебя в путешествие, и там же — лица друзей, исчисленных и поименованных, и тех, чьи имена ты забыл, — и «метеор» уносит тебя все дальше и дальше от них, в голубой днепровский простор, — все, оставленное за кормой, сливается и затем поглощается пространством, в котором неизменным остается лишь небесный шатер, распростершийся над миром, в котором тебе предстоит жить, но уже без них, оставшихся, остающихся и оставленных.

Но вряд ли я понимал все это дотошно тогда. Просто музыка, записанная у Егора и Мишки, стала мне вдруг как-то и не особенно нужной, что ли. И это было довольно сильным и неожиданным чувством.

Через полгода или же через год мы столкнулись случайно возле метро «Проспект Мира» с Мишкой Росляковым, выкурили по сигарете, и он рассказал интересную историю о своем последнем приобретении до неправдоподобности редкой пластинки Роберта Вайатта (Robert Wyatt), ударника удивительной, ни на кого не похожей британской группы рубежа 1960-70-х годов Soft Machine. Группа эта совсем не принадлежала к тому популярному и всем известному мейнстриму, покорившему сердца молодежи тех лет вроде Slade, Rolling Stones, Pink Floyd и тому подобных грандов тогдашнего рока, но название ее я знал, хотя их музыку послушать как следует мне довелось только уже в 1990-х годах. Кажется, и Третья программа польского радио ни разу не упомянула ее, отдавая дань все же мейнстриму и коммерческой раскрученности музыки попроще и попонятнее.

1 июня 1973 года во время вечеринки в честь дня рождения Джилли Смит, вокалистки группы еще одной невероятной группы Gong, бедолага Вайатт выпал из окна третьего этажа, будучи весьма пьян. Он, к счастью, не убилился насмерть, но у него парализовало всю нижнюю часть тела, вследствие чего он навсегда остался прикован к инвалидному креслу. И это — в самом расцвете творческих сил... Через пару месяцев как раз и вышел его диск Rock Bottom, о котором мне, собственно, и рассказывал Мишка возле метро, — пластинка редкой музыкальности и законченности. Вайатт всегда был весьма антибуржуазно настроенным человеком и сделал невероятный для западного человека шаг: не запустил Rock Bottom в открытую продажу с естественным промоушеном и рекламной компанией, а решил, что диск будет распространяться по своеобразной подписке. В тамошнем главном музыкальном журнале New Musical Express было размещено объявление, что такой-то музыкант выпустил такой-то диск. Желающие могут обращаться по такому-то адресу и получить в свою коллекцию рекомый Rock Bottom... Но чем в музыкальном плане были 1970-е годы прошлого века на Западе?.. Если приложить к тому времени теорию Карла Ясперса о так называемой «оси времени» — Ясперс подразумевал под этим термином время между летоисчислением «до нашей эры» и началом собственно «нашей эры», — магическую, невероятную реперную точку, когда ветхие мехи заменились на новые, и в них начало вливаться «вино новое» — время, в которое не только родились и жили практически в одном месте, по крайней мере в Римской империи, величайшие люди всех времен и народов — Иисус Христос, император Октавиан Август, царь Ирод Великий, но и были заложены могучие вероисповедания, оплодотворившие десятки веков нового времени архитектурой, живописью, богословием, музыкой и литературой. Что же касается музыки, о которой я сейчас веду разговор, в некоем микроскопическом масштабе подобной «осью времени», или же «осью музыки», можно считать как раз 70-е годы 20-го века, в которые увидели свет такие великие альбомы как Tago Mago, 1971, Ege Bamyasi, 1972, Future Days, 1973 — западногерманской группы Can; Welcome To My Nightmare, 1975 — Элиса Купера; Angel's Egg, 1973 и You, 1974 — группы Gong; Aqualang, 1971 — Jethro Tull; первые 5 альбомов Led Zeppelin; Apocalypse, 1974 — Mahavishnu Orchestra; Nightingales & Bombers, 1975 — группы Manfred Mann's Earth Band; знаменитые и непревзойденные альбомы Pink Floyd — Dark Side Of The Moon, 1973 и Wish You Were Here, 1975; ранние альбомы середины 70-х годов Патти Смит; величественные Still Life и World Record, 1976 — Van Der Graaf Generator; ну и куда же тут без Фрэнка Заппы с его альбомами Apostrophe, 1974 и Zoot Allures, 1976...

Господи, как же нам все-таки повезло, порой думаю я, что наша юность и молодость прихлась как раз на те годы!..

Ну, ты долго еще можешь перечислять, это известно. Но все же не злоупотребляй своим знанием и, тем более, не заносись...

Это я еще не говорю о том, что было на рубеже 1970-х годов, и о том, что было после, к 1980-м годам... Список по необходимости весьма краток, и в нем нет даже трех процентов того, что можно считать настоящей музыкой рок. Заметь же, что я ни словом не упомянул джазовые дела и людей, а также авангардных композиторов и музыкантов.

А ведь еще оставалась и классическая музыка — как раз в 1970-е годы началась эпоха аутентичного исполнительства, озаменованная такими музыкальными грандами, как Густав Леонхардт, Николас Арнонкурт, Жорди Заваль и многие другие...

Ну, замолкни уже, Сероштан!..

Ну и вот как в этом невероятном контексте мог быть замечен распространяемый по какой-то глупой подписке Rock Bottom Роберта Вайатта? Но музыкант рассудил, можно сказать, по гамбургскому счету: если пластинка достойна соперничать со всем тем, что я только что перечислил, то она будет востребована и найдет свое место в общем контексте музыкальной палитры. Как ни странно и как это ни дико звучит, но Вайатт оказался прав на все 100 процентов: спустя полтора десятка лет сообществом музыкальных критиков Rock Bottom был признан... лучшим и главным альбомом великих 1970-х годов!..

Ну и еще несколько слов надо сказать о Роберте Вайатте, оставшемся за рамками нашего разговора возле метро.

Вайатт был и есть весьма радикально настроенным человеком, а с момента падения с третьего этажа его идеологическое сознание еще более почему-то усугубилось: он стал членом Британской коммунистической партии, на его альбомах, вышедших вслед за Rock Bottom, есть такие знаменательные песни, как Stalingrad и даже Stalin, оформление одного из альбомов просто, как пять копеек: на чем-то вроде тачанки под развевающимся красным знаменем, в патронташах и с маузерами в руках Вайатт со товарищами спешат на Кубу или еще там куда-то защищать революцию от проклятых империалистов, — и все в таком духе. Наверное, только так и можно уверовать в благодатность марксизма, выпав головой вниз в третьего этажа, как Роберт Вайатт. Даже журнал «Ровесник» в 80-х годах поместил с ним большое интервью: ну как же, прогрессивный такой музыкант... Идеологический вывих и тяжелая инвалидность все-таки не мешают Вайатту до сих пор вести довольно плодотворную музыкальную и артистическую жизнь. Его не только не забыли, как того следовало бы ожидать по логике вещей, но весьма любят и уважают, особенно коллеги по цеху, достигшие музыкального Олимпа. Вот не так давно он принял участие в записи экспериментального альбома певцы Бюрк «Medúlla». И вот как говорит о нем сама знаменитая исполнительница:

«Он живёт в Лауфе, Линкольншир, и его оборудование находится в его собственной спальне, где он и записывает свои альбомы. Мы принесли туда G4 и Pro Tools и как-то ночью записали песню. Он совершенно экстраординарный исполнитель. Перед тем как мы расстались, он настоял на том, чтобы оставить нам шкалу собственного голоса, где он пел во всех тональностях. У него потрясающий диапазон — 5 или 6 октав. Вайатт действительно интересен тем, что каждая из его 6 октав разительным образом отличается от остальных, имеет собственный характер. Мы и впоследствии использовали эту шкалу при записи «Oceania». Сам Уайатт называл её «Вайаттрон».

Об этом и разговаривали мы с Мишкой возле метро «Проспект Мира». А также о том, что ему невероятным образом удалось выменять этот Rock Bottom у кого-то из музыкальной тусовки, причем Мишка отдал за него десять нехилых пластинок вроде T.Rex, Rolling Stones и Pavlov's Dog. Говоря другими словами, даже для такого продвинутого меломана, как Мишка, что уж тут говорить обо мне, потребовалось десятилетие для того, чтобы впервые послушать Вайатта, наконец-то добравшегося со своей музыкой до Москвы.

Через несколько дней они с Егором записали Rock Bottom мне на кассету, и с той поры этот альбом едва ли не самый любимый у меня в моей обширной коллекции. Понятно, что со временем Rock Bottom поступил и в открытую продажу на Западе, затем был переиздан в виде компакт-диска и вошел одной из драгоценных жемчужин в коробку Вайатта, изданную недавно ограниченным тиражом в Великобритании. Дочь моего приятеля Петули из Кременчуга Аня, обосновавшаяся во Флориде, прислала мне эту замечательную коробку. Свой же отдельный Rock Bottom я подарил с благодарностью самому Петуле.

И спустя 40 лет кременчугский народ, кто там остался в живых, ахнул от музыкальных красот этого диска... Настоящая музыка — она не стареет и не утрачивает актуальности. Напротив же: кто сегодня способен создать таковое?..

Такой и была моя последняя встреча с Мишкой Росляковым, стеснительным и добрым парнягой с Безбожного, больше всего на свете любившим музыку и вызывавшим всем своим видом только улыбку и добрые чувства.

Впереди черной дырой, засасывающей людей и знакомцев, зияли 1990-е годы с их неизбежностью, безжалостностью и ледяным холодом. Кажется, даже Егора, а уж тем более Мишку, я больше не видел.

О Егоре иногда что-то невнятное доносилось до слуха: их брак с Аней Герасимовой оказался весьма краткосрочным, только-то и всего, что она успела родить ему сына

Алешу. Паренек этот вырос и тоже — по примеру бабушки, отца и матери — стал писателем, ну а кем же еще мог стать выходец из этой среды?

Безбожный переулочек в духе новых времен переименовали в Протопоповский.

Римме Федоровне Казаковой пришлось большую квартиру там то ли продать, то ли разменять по известным причинам: Егор серьезно подсел на наркотики. Его вторая жена тоже стала наркоманкой и вскоре выбросилась с высокого этажа. Я испытывал глубокую печаль, когда смотрел на их с Егором фотографию: Римма Федоровна привезла из Америки в подарок невестке ковбойскую шляпу и девушка нахлобучила ее на голову, так и снялась, улыбаясь... Но кто мог предполагать такую страшную и трагическую судьбу?.. Егор, несмотря на опасные наркотические увлечения, в 1990-е годы написал и издал дюжину постмодернистских романов. Сегодня его сын Алексей в интервью безапелляционно заявляет, что отец был гением. Ну, мне трудно об этом судить — романов Егора я не читал. Так, полистал один из них, «Змеесос», как-то в «Академкниге» на Пушкинской и отложил в сторону: не мое. Я со студенческой поры люблю русский литературный модернизм 20-го века — Андрея Белого, Алексея Ремизова, Пильняка, Велемира Хлебникова, раннего Маяковского, но постмодернизм все-таки для меня неприемлем. Здесь можно провести параллель с 1-м и 2-м художественным авангардом — Татлиным, Поповой, Кандинским, Гончаровой и остальными — и художниками 1960-80-х годов из московского горкома графиков и с Малой Грузинской. Все же помельче последние будут. Так кажется мне, — и мое мнение совершенно не претендует на истину. Но то, что книги Егора изданы маститыми издательствами и находятся в литературном обороте, свидетельствует о том, что читатели у них — не в пример мне — все-таки есть. Литературная плодовитость Егора все-таки для меня весьма удивительна. Не помню, кто рассказывал мне, что после продажи или обмена «безбожной» квартиры, ему досталось жилье, из которого он вроде бы устроил самый настоящий наркопритон: во входной двери отсутствовал замок, на полу валялся матрац, на котором окрестные наркоманы ширялись чем попало... Не знаю, впрочем, верить ли таким вот рассказам о Егоре. Впрочем, что мы, остальные любители «солнцедара» и портвейна «Три топора» можем знать о всесметающей силе тяжелых наркотиков?.. Римма Казакова положила остаток своих сил и возможностей на то, чтобы вызволить Егора из этого крошечного ада. И вроде бы его даже вылечили, — по крайней мере так она утверждала в поздних своих интервью.

Егор умер от сердечной недостаточности, находясь в Гоа. Ему было 46 лет.

И вот теперь следом за другом из запертой квартиры на Белорусской отправился в последнее свое путешествие и Мишка Росляков.

Начали его вспоминать, подводить итоги какие-то... Грустно о том говорить... Кто-то написал Ане Герасимовой, что в 1990-е годы он переводил на русский язык тексты Патти Смит, американской поэтессы, рок-певицы и удивительной писательницы, музыкальным, а затем и литературным творчеством которой все мы весьма увлекались в поздние 1970-е годы и которая на все 1980-е годы исчезла со сцены, посвятив себя исключительно детям. Но Аня так и не смогла разыскать Мишкиных переводов нигде. По смутным слухам, правда, донесшихся до меня совсем недавно, Мишкины произведения все-таки существуют и даже готовятся к печати его женой Олей Болговой. Конечно, Мишка что-то писал, как и его знаменитый отец. Но все-таки главное, овещенное, что осталось от Мишки — это груды старых пластинок и книг — Мишкина музыка, которой и отдана была его жизнь без остатка.

Но это вот одиночество, эта оставленность всеми, эта ненужность самого Мишки в новых уже временах — не дает мне покоя, тревожит некоей неизбывностью, какой-то холодной метафизической виной, и я силюсь понять и представить: что же с ним было, когда он в последний раз закрыл за собой дверь в квартире на Белорусской, когда в некоем изнеможении сел на диван и в последний уже раз окинул взглядом свои виниловые пластинки и компакт-диски, где в пластмассовых бороздках или же в равнодушной цифре молчало то, в чем, по всей видимости, так по крайней мере казалось, и был ответ на извечное это вопрошание в пустое и безвидное небо: зачем же ты жил, человек, в этом мире?..

Но и музыка оказалась иллюзией. Может быть, Мишка и умер, осознав это со всей губительной непреложностью.

За музыкой следовал шум. А за ним — уже тишина.